

И. А. БУНИН

О ЧЕХОВЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

1955

И. А. Бунин

О ЧЕХОВЕ

И. А. БУНИН

О ЧЕХОВЕ

Незаконченная рукопись

Предисловие М. А. Алданова

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1955

IVAN BUNIN
ABOUT CHEKHOV
AN UNFINISHED MANUSCRIPT
Introduction by Mark Aldanov

© 1955, by
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

ПРЕДИСЛОВИЕ

В их пути к славе было немало общего. Литературная судьба обоих была на редкость счастлива.

Чехов был внуком крепостного крестьянина, родился в бедности, в глухой провинции, в мало образованной семье. Это могло предвещать трудную, медленную дорогу к успеху. Вышло как раз обратное. Тяжело жилось лишь в первые годы. Скоро открылись перед ним лучшие журналы России. Ему еще не было двадцати восьми лет, когда была поставлена его театральная пьеса «Иванов». В том же возрасте он получил Пушкинскую премию; сорока лет отроду стал академиком. Литературный заработок дал ему возможность очень недурно жить, содержать большую семью, купить имение, потом дачу в Крыму, путешествовать по Европе и Азии, подолгу жить в Ницце. Маркс приобрел собрание его сочинений за семьдесят пять тысяч золотых рублей. В западной Европе почти не было — да и теперь почти нет — писателей, которые проделали бы столь блестящую карьеру. Перед кем, например, из французских писателей так рано открывался доступ в Академию, в *Comédie Française*, кому из них издатели платили такие деньги?

Правда, м и р о в а я слава пришла лишь после его смерти. При жизни он был за границей мало известен. В одном из своих писем он отмечает — очевидно, как «событие», — что его перевели на датский язык, и забавно добавляет: «Теперь я спокоен за Данию». Помню, я мальчиком, на заграничном курорте, узнал о кончине Чехова из немецкой газеты: в Баденвейлере от чахотки скончался русский писатель Антон

Чехов... Заметка была коротенькая, в пять-шесть строк, и вполне равнодушная (в России, напротив, было то, что можно было бы назвать — и называлось — взрывом национального горя).

Когда именно его открыли за границей? Алексей Толстой уверял меня, что это было в начале первой войны: «Тогда союзникам спешно понадобилась русская душа». Это неверно. Уже в 1909 году Арнольд Беннет писал в своем «Дневнике» (запись от 26-го февраля): «Все больше меня поражает Чехов, все больше склоняюсь к тому, чтобы писать много рассказов той же техники» (“in the same technique”). (Позднее, переезжая на другую квартиру, он записывает: «Купил другой экземпляр полного собрания Чехова. Не мог бы обойтись без него дольше»). В настоящее время в англо-саксонских странах Чехов признан мировым классиком. «Ничей актив не расценивается теперь так высоко лучшими критиками, как актив Чехова», — говорит Сомерсет Моэм в предисловии к “Altogether”, — «Восхищаться им это признак хорошего вкуса... Не любить его значит объявить себя филистером».

Бунин принадлежал к старой разорившейся дворянской семье. В ранней молодости и он был очень беден, но у него тоже период нужды длился недолго. Первые же его рассказы были замечены знатоками¹⁾. Рано пришли Пушкинская премия, избрание в Академию, слава после «Деревни» и «Господина из Сан-Франциско». В отличие от Чехова он был признан миром при жизни, — в 1933 году получил Нобелевскую премию. Прожил ее — и опять пришла тяжелая нужда: в конце жизни как в ее начале. Чехов, к счастью

¹⁾ Письмо Д. В. Григоровича к молодому Чехову всем известно. Меньше знают то, что 24-летнему Бунину Н. К. Михайловский написал чрезвычайно лестное письмо, — предсказывал, что из него выйдет большой писатель.

для него, эмигрантом не был (а наверное стал бы им, если бы дожил до 1918-го года, и его замалчивали или громили бы в СССР те самые люди, которые теперь его там превозносят).

Очень они, как люди, были непохожи друг на друга. И все-таки что-то общее было, помимо огромного таланта. Оба были необыкновенно умны, оба обладали редким почти безошибочным вкусом; ценили они в литературе одно и то же, восторгались одним и тем же, не любили одно и то же. Оба боготворили Толстого и холодно (Иван Алексеевич и просто враждебно) относились к Достоевскому. Оба презирали то, что многие критики начала нашего столетия называли «декадентщиной», они сами «фокусничеством», а Толстой — «пересоленной карикатурой на глупость».

Об их “credo” говорить трудно, — не любили они пышных слов. Оба не очень интересовались философскими и религиозными вопросами и говорили о них редко (между собой, вероятно, не говорили никогда). Обоим были чужды люди такого умственного и душевного склада, как, например, Владимир Соловьев или С. Н. Трубецкой. Представить себе Чехова или Бунина на кафедре какого-либо философско-религиозного общества просто невозможно. Часто цитируют слова Чехова: «Мое святое святых это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода». Не очень ясно, — не поймешь например, что такое «абсолютнейшая свобода», но, если это — “credo”, то, пожалуй, Бунин к нему присоединился бы. Он ни к чему не «звал» и не «вел»²⁾. Тем не менее о политике порою говорил

²⁾ Гиппиус в статье о Н. Чайковском в «Живых лицах» говорит: «Не надо возвращаться к старикам. Не надо повторять их путь. Но «от них взять» — надо; взять и идти дальше, вперед». — Иван Алексеевич подчеркнул последнее слово и написал на полях: «Куда это, сударыня?»

ярко и страстно, особенно когда дело шло о том, что он ненавидел. О Гитлере, о Сталине даже в пору их триумфов говорил открыто с совершенным презрением — и до конца своих дней необычайно восторгался Черчиллем. Его поведение в пору германской оккупации было выше похвал. Он укрывал у себя людей, которым грозила опасность, не напечатал за пять лет в порабощенных странах ни одной строчки, писал письма по тем временам по меньшей мере неосторожные. Я уверен, что так вел бы себя и Чехов, если б дожил. Его тоже часто попрекали в отсутствии политических убеждений. Однако чуть ли не единственное чрезвычайно резкое, если не просто грубое, письмо Чехова (с разрывом «даже обыкновенного шапочного знакомства») было им написано В. М. Лаврову, говорившему в «Русской мысли» об его «беспринципности»³⁾. Отмечу в настоящей книге слова Бунина: «Такого, как Чехов, писателя еще никогда не было! Поездка на Сахалин, книга о нем, работа во время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ, устройство таганрогской библиотеки, заботы о постановке памятника Петру в родном городе — и все это в течение семи лет при развивающейся смертельной болезни! А его упрекали в беспринципности! Ибо он не принадлежал ни к какой партии и превыше всего ставил творческую свободу, что ему не прощалось, не прощалось долго».

Оба были чрезвычайно независимые люди. Они и в искусстве шли обычно «против течения». Предположение, что хоть одна их страница могла быть написана по «соцзаказу», не вызывает даже улыбки. Но так же мало считались они и с тем, что можно было бы до революции назвать заказом общественного мнения. «Скучная история», «В овраге», «Дерев-

³⁾ См. Б. К. Зайцев. Чехов. Литературная биография. Издательство имени Чехова. 1954 год, стр. 93.

ня» были скорее вызовом убеждениям наиболее влиятельных критиков.

О литературе они друг с другом говорили постоянно. «Выдумывание художественных подробностей и сближало нас, может быть, больше всего, — вспоминает Иван Алексеевич. — Он был жаден до них необыкновенно, он мог два-три дня подряд повторять с восхищением художественную черту, и уже по одному этому не забуду я его никогда, всегда буду чувствовать боль, что его нет». Иногда Бунин читал вслух Чехову не свои, а его рассказы. Сам Чехов читать вслух не любил и не умел, у него была и плохая дикция, легкий дефект речи. Бунинское чтение его восхищало. Я не знал такого чтеца, как Иван Алексеевич, ни среди писателей, ни тем менее среди актеров. Иногда — особенно в небольшой аудитории — он производил впечатление необычайное. Знаю, что людям свойственно в таких случаях преувеличивать свой восторг. Сохранился, например, рассказ Погодина о том, как молодой Пушкин в Москве читал свою «Комедию о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»: «Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами; без всяких притязаний; с живыми, быстрыми глазами, с тихим приятным голосом; в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом на-глухо, в небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка богов, мы слышали простую, ясную, обыкновенную и между тем пиитическую, увлекательную речь!.. Мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит

с места, кто вскрикнет»⁴) и т. д. Однако скажу, что навсегда в моей памяти осталось одно чтение Ивана Алексеевича, случайное, в его столовой, за чаем. Слушатель был, кроме меня, один: покойный писатель Нилус. «Никогда в жизни такого чтения не слышал, это верх совершенства!» — совершенно справедливо сказал он.

Чехов, думаю, не оказал большого художественного влияния на Бунина (уж скорее Тургенев «Поездки в Полесье» и, конечно, Толстой). Любили же они друг друга и как писатели чрезвычайно. «У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым, — пишет Бунин, — за всё время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший, — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество, — теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким: «Бунин уехал, и я один». — То же самое и я не раз слышал от Ивана Алексеевича, он говорил об этом с радостью, лицо его светлело. Вспоминает и Станиславский: «В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит и Антон Павлович и хохочет, помирая от смеха. Никто не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении».

Не всегда они виделись на людях, и не всегда Иван Алексеевич бывал в хорошем настроении (бывал часто блистателен и тогда, когда настроение было плохое). В общем, жизнерадостность у него почти до конца была редкая. О Чехове принято говорить об-

⁴) «Русская старина», т. XXVII, 1880 год, стр. 136.

ратное. Он решительно это отрицал: «Какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», — как называют меня критики? Какой я «пессимист»?.. «Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один. А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел только честно сказать людям: «Посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!»

Тут спорить трудно. Шестов называл Чехова беспощадным писателем. Бунин в разговорах высказывался еще много решительнее. М. Курдюмов в своей книге «Сердце смятенное» излагает содержание одного мрачного рассказа Чехова. Иван Алексеевич на полях пишет: «Да, в е з д е (подчеркнуто им. М. А.) у него мерзость и ужас». Быть может, сам почувствовал несправедливость своей записи (ведь не «езде», конечно): читая в той же книге о «предельном внутреннем тупике» у Чехова, Бунин написал: «Преувеличение ужасное!» — Не любил всю жизнь преувеличений. Автора «Скучной истории» будто бы мучила участь человека, — И. А. раздраженно подчеркивает слово «мучила» и на той же странице приписывает: «Любил завтраки, обеды, ужины, колбасу Белова». Это кстати мог бы написать и сам Чехов; ему замечание верно понравилось бы. Со всем тем, разница между беспощадностью и «посмотрите, как вы все плохо и скучно живете» не так велика, ее и установить трудно, и мало было выдающихся писателей, которые не подвергались бы упреку в «беспощадности», в «черной краске», в «поисках дурного в жизни и в человеческой природе». Правильно говорил Бунин в письме к С. А. Венгерову, напечатанном в начале первого тома его собрания сочинений: «В угоду традициям и благодаря незнанию народной жизни, некоторые неизменно прибавляли, говоря о моих произведениях, касавшихся народа: «а все-таки это не так» — и, ни-

когда не приводя никаких доказательств, отделялись «отрадными» частностями, ссылками на Достоевского, Тютчева или Гл. Успенского и Чехова, хотя Успенского тоже упрекали в «хмуром и желчном пессимизме» и «полном незнании народа», хотя, укоряя меня Чеховым, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками его. Всё это, конечно, в порядке вещей. О «Мертвых душах» и о «Ревизоре» кричали: «это клевета, это невозможность». Гончарову пришлось выслушать, что он «совершенно не понимает и не знает русского народа». «Преступление и наказание» называли (и не где-нибудь, а в «Современнике») «клеветой на молодое поколение», «дребеденью», «глупым и позорным измышлением, произведением самым жалким». — Забавно тут то, что в молодости, после первых его рассказов, критики говорили о Бунине противоположное: нет писателя «более тишайшего, человека более умиротворенного».

«Тишайшим» и «умиротворенным» Иван Алексеевич никак не был. Не был и Чехов. Если б были возможны и, главное, нужны способы какого-то статистического подсчета добра и зла в жизни, изображенной и не в самых безотрадных их произведениях (о «Палате № 6» или о «Петлистых ушах» не приходится и говорить), он дал бы верно результаты неожиданные, не столь уж отличающиеся от тех, какие дал бы такой же анализ, например, для Гоголя. Не стоит об этом и говорить. Россия поняла, оценила, превознесла Чехова и Бунина, назвала их последними классиками. Что именно оценил по достоинству Запад? У Чехова — большая публика преимущественно театральные пьесы, хотя они хуже его рассказов. Такие же подлинные шедевры, как «Палата № 6», «Скучная история», «Архиерей», «Степь», «Душечка», «Именины» едва ли могли быть поняты широкими масса-

ми западных читателей: слишком им чужды быт этих рассказов и даже, в меньшей все же степени, их дух. Не говорю тут о знатоках. Сомерсет Мохэм справедливо называет рассказ «Архиерей» “one of the most beautiful and touching of his stories”. Так же справедливо Беннет говорит, что «Палата № 6» — одно из самых необыкновенных и страшных произведений, когда-либо кем-либо написанных. Однако и он был поражен в этом рассказе преимущественно его о б л и ч и т е л ь н о й стороной (уж очень слово «обличение» не приложимо к Чехову). Действительно в Англии верно нет таких больниц, как описанная Чеховым; может быть, не было и в Чеховское время. Но ведь и в старой России не каждый день врачи попадали в те дома умалишенных, где прежде сами лечили. У Бунина на западе оценили лучшее, но, кажется, не все лучшее. «Господин из Сан-Франциско» включен во многие антологии мировой литературы. А «Жизнь Арсеньева», одна из самых замечательных книг в русской литературе, переводилась на иностранные языки гораздо меньше.

Разное бывает и мировое признание и не всегда оно прочно. Чехов наверное своей славы на западе и не предвидел. Но он знал себе цену. «Однажды, читая газетѣ, он поднял лицо и, не спеша, без интонации, сказал: «Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов», — рассказывает Бунин в этой книге. Да, именно, «Горький и Чехов». На западе, при его жизни, даже неизмеримо больше Горький, чем Чехов. В 1904 году, за несколько месяцев до его кончины, вышла книжка в двести страниц: «Жизнь и сочинения Максима Горького в оценке западно-европейской критики», перевод с английского А. М. Беловой». Мне она попала совершенно случайно. Зачем она была напечатана, — трудно понять. А просмотрѣть ее не слишком нервному, ко всему при-

вычному человеку стоит. В ней, конечно, говорится и о русской литературе вообще, упоминаются, как полагаются, Толстой, Тургенев, Достоевский. О Чехове нет ни слова. Все о Горьком и чего только нет! Тринадцать глав, с заглавиями, по разделам. Последняя называется, например, «Этика Горького», — просто Кант или Декарт! Много и биографических сведений; некоторые новы (по крайней мере для меня): «Дед мальчика (Горького) со стороны отца был армейским офицером, но при Николае I был разжалован за жестокое обращение с солдатами. Даже и для того безжалостного и жестокого века он являлся зверем». Все обстоятельно. Есть и безумство храбрых, и непроходимые леса России, и русская душа, и Прометеев огонь. В художественных оценках, разумеется, преобладает восторг: «Имя Максима Горького было занесено в золотую книгу великих людей России»... «Россия имела бы в нем законного наследника знаменитого автора Анны Карениной», если б, — не все ли равно, какое «если б»? Спасибо и на нем. Впрочем, есть и другое: кое-кто из англичан находил, что «сенсация, вызванная его (Горького) произведениями, совсем не пропорциональна достоинству его сочинений». — Неужели!

В. Н. Бунина ниже сообщает о материалах этой книги, выходящей посмертным изданием. Особое место в ней занимают письма Л. А. Авилловой. Читатели с волнением прочтут историю любви к ней Чехова. Письма Л. А. к Ивану Алексеевичу, его суждения незаменимы для биографов и критиков. Еще более важно все другое. Надо ли говорить, как драгоценно каждое замечание о Чехове Бунина. Немало восторженных отзывов о нем было и в письмах Ивана Алексеевича ко мне. Из этих писем большая часть (сотни!) погибла в Париже летом 1940 года. Все позднейшие, разумеется, сохранились. Скажу без коле-

бания, что письма Бунина, страстные, часто гневные, полные резких отзывов о нелюбимых им людях, вообще интереснее Чеховских, — в них нет «канталупочек» и «собачек» в обращениях, нет «аутского мешанина» или «Царя Мидийского» в подписи, в них гораздо меньше шутливости, несколько раздражающей при чрезмерном обилии. В письмах ко мне 1940-1953 гг. есть, кажется, только одно упоминание об Антоне Павловиче — и, в виде исключения, не восторженное: «Я только что прочел книгу В. Ермилова. (В. Ермилов. Чехов. Молодая Гвардия. 1946). Очень способный и ловкий (опускаю одно слово. М. А.) — так обработал Ч., столько сделал выписок из его произведений и писем, что Ч. оказался совершеннейший большевик и даже «буревестник», не хуже Горького, только другого склада... Пьесы его (Чехова) мне всегда были почти ненавистны. Ах, Толстой, Толстой! В феврале 1897 года он был в Птб. и сказал Суворину («Дневник Суворина»): — «Чайка» Чехова вздор, ничего не стоящий... «Чайка» очень плоха... Лучшее в ней — монолог писателя, это автобиографические черты, но в драме они ни к селу, ни к городу! В «Моей жизни» Чехова герой читает столяру Островского и столяр говорит: «Все может быть, все может быть». — За столяра Чехову ставлю 5 с плюсом, Толстому за все эти слова — 50 с плюсом; ведь даже это заметил и вспомнил: «Все может быть, все может быть» (письмо от 31 июля — 1 августа 1947 года). Тут Иван Алексеевич, конечно, «заострил» свою мысль, как и Толстой⁵). В этой книге он высказался о «Чайке» лестно. Но Чеховских пьес вообще не любил, как и Толстой, хотя по другой причине: он говорил, что автор «Вишневого сада» не знал жизни в помещичь-

⁵) Лев Николаевич сказал, что при чтении Чехова порою испытывает нечто вроде «профессиональной зависти». Кажется, он ни об одном другом писателе такого никогда не говорил.

их усадьбах. Едва ли это верно: Чехов жил в них подолгу, не один раз (например, в Бабкине, у Киселевых), да и в этом не о б х о д и м о с т и не было. Он во всяком случае знал много больше русских помещиков, чем Иван Алексеевич — американских миллионеров из Сан-Франциско или убийц-садивов вроде Соколовича из «Петлистых ушей» (а оба рассказа принадлежат у Бунина к самым замечательным). Толстому же драмы Чехова не нравились собственно потому, что в них, по его мнению, не было действия.

Этот упрек не раз делали и Бунину. В связи с упреками приведу (к сожалению, с сокращением) отрывок из другого его письма ко мне (от 2 сентября 1947 года): «Будущий критик удивится, прочтя мое письмо к Вам, почему Бунин «точно огорчился от вопроса, писано ли им хоть что-нибудь с натуры»? Удивится не удивится, но это так: огорчаюсь. В молодости я очень огорчился слабости своей в ы д у м ы в а т ь темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький... А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться «не по дням, а по часам», как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, один Бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался совершенно неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю «необыкновенной памятью», что я все пишу «с натуры», то, что со мной самим

было, или то, что я знал, видел!» — По моему эти строки Бунина чрезвычайно важны для суждения об его творчестве, да и о творчестве вообще. Достоевский не видел, как студент убивает старуху-процентщицу. А Марсель Пруст, несмотря на свой гений, даром «выдумки» не обладал.

Чехов не дожид до л у ч ш и х произведений Ивана Алексеевича. Тем больше ему чести — что так рано заметил и по достоинству оценил своего младшего годами собрата. В 1900 году (Бунину было тридцать лет) Антон Павлович подарил ему свой портрет с надписью: «Ивану Алексеевичу Бунину с в о с т о р г о м и б л а г о г о в е н и е м». А вот что пишет Н. Д. Телешов в своих воспоминаниях:

«Я уже знал, что Чехов очень болен, — вернее, очень плох, и решил занести ему только прощальную записку, чтобы не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.

«Хотя я был подготовлен к тому, что увижу, но то, что увидел, превосходило мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

«А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

«— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать».

«— Умирать еду, — действительно говорил он. — Поклонитесь от меня товарищам вашим по «Среде». Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше мы не встретимся.

«— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему от меня. Не забудьте».

Такой же ужасный вид был и у Ивана Алексеевича, когда я его видел в последний раз (вечером 4 ноября 1953 года, за три дня до его кончины). Он тоже умирал долго и мучительно. Очень сложна была — особенно в конце — духовная жизнь этого необыкновенного человека, и было в ней многое, разное. Писал мне: «А чем я живу теперь «в высшем смысле слова» — об этом очень трудно говорить. Больше всего, кажется, чувствами и мыслями о том, чему к а к - т о н и з а ч т о н е в е р и т с я, что кажется чудовищно-неправдоподобным, изумительным, невозможным, а между тем дьявольски-непреложным, — о том, что я живу как какой-нибудь тот, к которому вот-вот войдут в 4 ч. 45 м. утра и скажут: «Мужайтесь, час ваш настал...»

М. Алданов

ВСТУПЛЕНИЕ В. Н. БУНИНОЙ

В 1952 году здоровье Ивана Алексеевича резко ухудшилось. Он почти не вставал с постели.

Во время предельно тяжелых страданий от удушья, — а припадки бывали по многу раз в сутки, — он, чуть ему становилось легче, снова принимался работать и над своими книгами, готовя их к «посмертному изданию», — как он говорил, — и над Чеховым.

А. П. Струве последние три года тяжелого состояния Ивана Алексеевича заботился, чтобы новинки русской литературы попадали в его руки. Стал он приносить нам и изданные в России отдельные тома «Писем А. П. Чехова», из которых Иван Алексеевич узнал много нового об Антоне Павловиче и о его родных. Узнал он и то, что Чехов писал своим родным и близким о нем:

Матери, 8 января 1901 года из Ниццы:

«Очень радуюсь, что Бунин у нас, жалею, что меня нет дома».

О. Л. Книппер, 20 февраля 1901 года из Ялты:

«Здесь Бунин, который, к счастью, у меня бывает каждый день».

Ей же, 23 февраля 1901 года, из Ялты:

«Был Бунин здесь, теперь он уехал — и я один».

Жене, 31 января 1902 года, из Ялты:

«Осенью» Бунина сделано несвободной рукой».

С. А. Найденову, приехав в Москву, 16 октября 1902 года:

«Если видаетесь с Буниным, то сообщите ему, что мне хочется повидаться с ним».

А. И. Куприну, 18 октября 1902 года, из Москвы: «Вчера был Бунин, он в меланхолическом настроении, собирается за границу».

А. В. Амфитеатрову, 13 апреля 1904 года из Ялты:

«Пишу теперь мало, читаю много. Читаю и «Русь», которую выписываю. Сегодня читал сборник «Знания», между прочим горьковского «Человека», очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего на о, прочел и великолепный рассказ Бунина «Чернозем». Это в самом деле превосходный рассказ, есть места просто на удивление, и я рекомендую его Вашему вниманию».

Конечно, это очень трогало Ивана Алексеевича, вызывало думы о былом: он вспоминал дни, проведенные в доме Чехова, а ведь он часто у него бывал и гостил. Он думал: писать ли ему о Чехове еще раз, вернее «дописать» ли о нем?

А здоровье его все время слабело, он боялся — хватит ли сил? Но тем не менее с большим вниманием он продолжал делать заметки, перечитывать произведения и письма Чехова. Его колебания продолжались до тех пор, пока он не прочел воспоминания Л. А. Авилевой.

Вот как об этом записал Иван Алексеевич: «Сегодня Зуров принес мне книгу «Чехов в воспоминаниях современников» со словами: «Прочтите прежде всего «Чехов в моей жизни» Авилевой, я ничего лучше не читал из женских воспоминаний, — необыкновенно талантливо, живо написано, с внутренней правдивостью, с исключительной деликатностью». Я очень заинтересовался, так как Лидию Алексеевну я знал еще в молодых годах, а в эмиграции мы даже переписывались, но я ничего никогда не слышал о ее отношениях с Чеховым».

Прочитав с изумлением эти воспоминания, Иван Алексеевич твердо решил «дописать» о Чехове и на-

писать о Л. А. Авиловой, которую всегда чрезвычайно ценил.

Он попросил меня переписать ее письма, где ярко проявляется личность этой незаурядной, одаренной женщины.

«Ведь всем будет интересно знать, что за женщина, которую Чехов любил, — сказал тогда Иван Алексеевич и добавил при этом: — Так вот почему он так долго не женился...»

И тут он припомнил слова из рассказа Чехова «Дама с собачкой», который он по-новому понял:

«У каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая интересная жизнь».

В 1953 году, перечитывая воспоминания Авиловой и делая на страницах многочисленные отметки, Иван Алексеевич говорил, что он теперь по-новому почувствовал скрытую от всех внутренне целомудренную жизнь Чехова.

**
*

Надо сказать, что Иван Алексеевич познакомился с Авиловой еще в молодости, а потом встречался с ней в Петербурге, в редакциях, на литературных вечерах. Она тогда печаталась в газетах и журналах (ее зять, С. Н. Худяков, был редактором и издателем «Петербургской газеты», в которой сотрудничал и Чехов, начиная с конца 1884 г.).

В январе 1915 года, когда мы жили всю зиму в Москве между Плющихой и Девичьим Полем, в Долгом переулке, Иван Алексеевич однажды мне сказал:

— Я пригласил к нам писательницу Лидию Алексеевну Авилову, с которой я случайно встретился в нашем Книгоиздательстве. Она хочет издать там свою книгу. Я узнал, что Авиловы переехали из Петербур-

га в Москву, где ее муж получил какое-то место. Живут на Спиридоновке, наняли особняк.

В назначенный вечер (11 января) она приехала к нам. Я увидела высокую статную женщину в хорошо сшитом черном платье, которая поздоровалась со мной с застенчивой улыбкой. Кроме нее, у нас в гостях были моя мать и профессор Политехнического Института А. Г. Гусаков, который в Петербурге встречался с Авиловой, когда был одним из редакторов газеты «Страна», — она там печаталась.

Сели за чайный стол. Я стала рассматривать нашу новую гостью, ее хорошо причесанную седую голову, бледное лицо с внимательными серо-голубыми большими глазами.

Сначала разговор шел о войне, раненых, а затем о литературе.

Меня поразило, как она не похожа на других писательниц своей скромностью, собранностью, умением спорить и выслушивать собеседника.

Ее литературные вкусы совпадали со вкусами Ивана Алексеевича, в оценке писателей и людей.

Говорили мы тогда о нашем Книгоиздательстве писателей, где автор после покрытия расходов по печатанию весь остальной доход получает сам, оставляя на расходы по издательству десять процентов.

— Вот и хорошо, что хотите у нас издать вашу книгу, — сказал ей Иван Алексеевич.

— Я была бы очень рада, если примут.

— А что это? Роман? — спросила моя мать.

— Нет, книга рассказов.

Потом заговорили о деревне. Авилова рассказывала, что у них имение в Тульской губернии, не родовое, а купленное лет пятнадцать тому назад.

— Вот приезжайте, погостите у нас, — приглашала она. — У нас хорошо. Дети мои усадьбу очень любят. Отношения с мужиками хорошие.

— А далеко она от Ясной Поляны? — спросила моя мать.

— Нет не очень.

— У моей бабушки было имение в двадцати верстах от Ясной, — сказала тут я, — мы слезали на станции Лазарево.

— Нет, это с другой стороны Ясной, — ответила Авилова, — у нас пересадка в Туле.

Иван Алексеевич пошел ее провожать до извозчика. Вернувшись, он сказал:

— Представь себе, она сокрушается, что ничего не видала, ничего не знает, а у нее уже седая голова. Она много говорила и о моих вещах, — находит, что я основываю школу... Она на редкость все понимает и тонко ценит.

Вскоре Авилова пригласила нас к обеду.

Они жили в одноэтажном особняке на Спиридоновке (ныне улица Алексея Толстого). У подъезда я увидела санки, около стояла молоденькая девушка и прощалась со старушкой. Иван Алексеевич посмотрел на них и сказал:

— Какая прелестная девушка и как трогательно целуется, наверно, с няней.

Это была дочь Авиловых, Ниночка.

В просторной столовой мы познакомились с Авиловым, пожилым, среднего роста плотным человеком с седой бородкой и короткой шеей. Тут же были два сына, призывного возраста, оба высокие, старший покрупнее, широкоплечий с поднятой грудью, присаянный поверенный, а младший — худой.

Начали говорить о войне, но быстро перешли на литературу.

Ее сыновья рассказывали, что у них на вечеринках часто была игра «в присуждение премии за лучшие рассказы». Однажды первый приз получила Ниночка.

— Я всегда угадывал мамин рассказ, — сообщил старший сын, — по стилю, по манере.

Чувствовалось, что дети и мать — одно. Не только любовь между ними, но дружба, близость.

К концу длинного обеда все развеселились.

Угостили они нас тогда хорошо: между прочим огромной нельмой. С того года, с года войны, в Москве появились сибирские рыбы — нельма, максун, кета, почему-то их раньше не привозили?

Много смеялись. Кто знал Ивана Алексеевича, как собеседника, знает его неистощимый юмор, но много юмора было и у Лидии Алексеевны. Было необыкновенно забавно слушать их разговор.

Иван Алексеевич приглашал ее на литературные собрания «Молодой Среды», но она не вошла в литературную среду Москвы. Тогда ей было не до того: волновалась за сыновей, новая жизнь в Москве отнимала много времени. Да и у нас не было ни дня свободного: много знакомых, родных, всяких заседаний и развлечений. Мы долго не виделись. В конце осени 16 года Иван Алексеевич прочел в газетах о внезапной смерти Авилова. Я была на отпевании.

Весной 17 года моя мать встретила с Лидией Алексеевной на Пречистенском бульваре, она уже была в полутрауре, — прошло полгода со дня смерти мужа, — мама восхищалась, как она была элегантно и изящно одета. Лидия Алексеевна просила маму передать нам, что они переехали в Гагаринский переулок, сообщила адрес, очень просила нас к ней зайти. И мы стали у нее бывать.

Квартирка была уже маленькая. За это время Ниночка вышла замуж за офицера военного времени, брата артистки Г., который много рассказывал о петербургских событиях, где он пережил революцию. Он был очень развязный, полная противоположность тихой, вдумчивой, мало говорящей и милой жене.

Лидия Алексеевна тогда нам с большим юмором рассказывала, как она вернулась из имения, куда ездила с няней за продуктами. Рассказывала о солдатах, которых уже было не мало в деревне и уйма в вагонах: все благодушны, наслаждаются своими привилегиями, среди молодых уже появились эс-эры.

Она прекрасно рассказала, как она с няней тащили мешки с припасами, как им пришлось подлезать под вагоны в Туле, и о том, что, когда она была под вагоном, то вдруг ее осенило:

— Да я ведь старенькая...

И ей сделалось очень смешно, и она едва вылезла. А было ей всего пятьдесят два года!

В те времена мы ничего не знали о ее любви к Антону Павловичу. Она бережно охраняла свои чувства от всех, — так же, как когда-то оберегал их и Антон Павлович Чехов.

После октябрьского переворота мы иногда встречались с Лидией Алексеевной. Тогда в Москве уже говорили о Белом движении на Дону и о Корнилове.

Ее зять, офицер, отправился с Ниночкой на юг. Лидия Алексеевна с сыновьями остались в Москве. Мы уехали в Одессу 21 мая по старому стилю.

До ноября 1922 года, когда мы получили от Лидии Алексеевны первое письмо, мы ничего о ней не слыхали. Письма ее удивительны.

**
*

В 1953 году нам, наконец, удалось приобрести советское издание «Письма А. П. Чехова» (кроме двух первых томов). Мы их перечитывали. Иван Алексеевич, указывая мне, что нужно выписать, испестрил книги своими надписями и пометками.

Перечитал он в те времена все, что можно было достать в Париже о Чехове, а из прочитанного отметил исключительно содержательную статью Льва Шестова «Творчество из ничего» (в которой Шестов первый вопреки большинству критиков назвал талант Чехова «беспощадным»); книгу Курдюмова «Сердце смятенное» (в которой Иван Алексеевич находил много верного; «Живые лица» Гиппиус (ей он возражал); «Чехов в воспоминаниях современников» (на полях этого сборника множество его отметок и заметок, а под воспоминаниями Потапенко написано: «Все очень хорошо»); книгу Бицилли «Творчество Чехова» (на полях много заметок) и наконец книгу Ермилова «А. П. Чехов», которую я прочла Ивану Алексеевичу вслух, а он начал было делать из нее выписки в начале октября перед последним воспалением легкого, — эта болезнь его предельно ослабила.

(Делала я, тоже по указанию Ивана Алексеевича, выписки из рассказов Чехова, в которых он, по его мнению, проявил себя тонким поэтом).

Иван Алексеевич уже вплотную засел за работу: в книге он решил соединить многое из того, что он когда-либо писал о нем с тем, что после прочтения изумительных воспоминаний Авиловой открылось ему (как и все то, что он при чтении писем Антона Павловича вспомнил). Захотелось ему ответить и критикам.

Работа сильно бы продвинулась вперед, если бы не подготовка к изданию книги «Петлистые уши», на которую Иван Алексеевич истратил полтора месяца — весь июль и половину августа, — и которую он очень ценил, как собрание своих совершенно противоположных по темам и характеру произведений: «самые жестокие и самые благостные», как он определил содержание этой книги. В это же время тратил он свои малые силы и на подготовку к «посмертному»

изданию своих произведений, дневников 18-го и 19-го годов, которые он перечитал и окончательно со старой рукописью сверил, внося то, что он когда-то сознательно выпустил.

В бессонные ночи Иван Алексеевич, — в последний год жизни он почти лишился сна, — делал заметки на обрывках бумаги, иногда даже на папиросных коробках, — вспоминал беседы с Чеховым.

(На книге, где находятся «Подторжье», «Деревня», «Суходол» и «Стихотворения», написано его рукой: «Оконч. исправлено для нового издания, 20 октября 1953. Ив. Б.», то есть меньше чем за три недели до его кончины).

Я решила опубликовать все то, что Иван Алексеевич набросал о Чехове сам или продиктовал мне.

Вторая глава настоящего сборника это не опубликованные в эмиграции воспоминания о Чехове, прочитанные Иваном Алексеевичем «на литературном утреннике Московского художественного театра 17 января 1910 года, в день пятидесятилетия со дня рождения Антона Павловича».

В VII главу первой части книги вошли письма Лидии Алексеевны Авиловой, которые Иван Алексеевич думал включить в книгу о Чехове.

Начать ее он решил метрическим свидетельством Антона Павловича: его радовало, что копия оказалась у него в руках, — он очень дорожил этим документом.

Во вторую часть книги (главы I-VI) вошли наброски; заметки, взятые Иваном Алексеевичем из своей записной книжки 1914 года; выдержки из чеховских писем (о творчестве, писателях, общественности и о жизни и болезни Антона Павловича, которые Иван Алексеевич хотел ввести в книгу о Чехове); замечания, сделанные Иваном Алексе-

евичем на полях книг литературоведа профессора Бицилли, Ермилова и во время чтения воспоминаний современников (В. А. Симова, В. Г. Короленко, И. Е. Репина, А. С. Лазарева-Грузинского, И. Л. Щеглова, И. Н. Потапенко, Т. Л. Щепкиной-Куперник, К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. И. Качалова, М. Горького, А. И. Куприна, Н. Д. Телешова, В. В. Вересаева, С. Я. Елпатьевского, Евт. П. Карпова, Н. Гарина, Г. И. Россолимо).

Заканчивая это вступление, я приношу сердечную благодарность писателю Л. Ф. Зурову, который помог мне составить и редактировать эту книгу.

В. Бунина

28 февраля 1955 года
Париж.

И. А. Бунин

О ЧЕХОВЕ

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ А. П. ЧЕХОВЕ, РАССКАЗАННЫЕ ИМ САМИМ. — КАК И. А. БУНИН ПРИОБРЕЛ КОПИЮ МЕТРИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ ЧЕХОВА. — ИСТОРИЯ ЗНАКОМСТВА ОБОИХ ПИСАТЕЛЕЙ И НАЧАЛО ИХ ДРУЖБЫ. — БУНИН, ЧЕХОВ И ТОЛСТОЙ В КРЫМУ. — Л. А. АВИЛОВА В ЖИЗНИ ЧЕХОВА. — ЗНАКОМСТВО И. А. БУНИНА С АВИЛОВОЙ. — ВОСПОМИНАНИЯ БУНИНА О ЧЕХОВЕ, ЧИТАННЫЕ ИМ В МХТ ПО СЛУЧАЮ 50-ЛЕТИЯ А. П. ЧЕХОВА. — ВСТРЕЧИ И. А. И В. Н. БУНИНЫХ С АВИЛОВОЙ В МОСКВЕ В 1915 И В 1917 ГОДАХ. — ПЕРЕПИСКА Л. А. АВИЛОВОЙ С И. А. БУНИНЫМ В ЭМИГРАЦИИ В НАЧАЛЕ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ.

I

Мы сидели, как обычно, в кабинете Антона Павловича и почему-то заговорили о наших крестных отцах:

— Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слышали такое звание?

— Нет.

И Антон Павлович протянул мне метрическое свидетельство. Я прочел и спросил:

— Можно переписать его?

— Пожалуйста.

«Запись в метрической книге Таганрогской соборной церкви:

«1860 года месяца Генваря 17-го дня рожден, а 27-го крещен Антоний; родители его: таганрогский купец третьей гильдии, Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна; воспитатели: таганрогский купеческий брат Спиридон Титов и таганрогского третьей гильдии купца Дмитрия Сафьянополу жена».

— Купеческий брат! удивительное звание! — никогда не слышал!

В метрическом свидетельстве указано, что Чехов родился 17 Генваря.

Между тем Антон Павлович в письме к сестре пишет (16 января 1899 г.).

«Сегодня день моего рождения, 39 лет. Завтра именины, здешние барышни и барыни (которых зовут антоновками) пришлют и принесут подарки».

Разница в датах? Вероятно, ошибся дьякон.

**
*

Я спрашивал Евгению Яковлевну (мать Чехова) и Марию Павловну:

— Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?

— Никогда в жизни, — твердо отвечали обе.

Замечательно.

**
*

Чехов родился на берегу мелкого Азовского моря, в уездном городе, глухом в ту пору, и характер этой скучной страны не мало, должно быть, способствовал развитию его прирожденной меланхолии. Печальная, безнадежная основа его характера происходила еще и от того, что в нем, как мне всегда казалось, было довольно много какой-то восточной наследственности, — сужу по лицам его простонародных родных, по их несколько косым и узким глазам и выдающимся скулам. И сам он делался с годами похож на них все больше и состарился душевно и телесно очень рано, как и подобает восточным людям. Чахотка чахоткой, но все же не одна она была причиной того, что, будучи всего сорока лет, он уже стал похож на очень пожилого монгола своим желтоватым, морщинистым лицом. А детство? Мещанская уездная бедность семьи, молчаливая, со сжатым ртом, с прямой удлиненной губой мать, «истовый и строгий» отец, заставлявший старших сыновей по ночам петь в церковном хоре, мучивший их спевками поздними вечерами, как какой-нибудь зверь; требовавший с самого нежного возраста, чтобы они сидели по очереди в качестве «хозяйского ока» в лавке. И чаще всего страдал Антоша,

— наблюдательный отец сразу отметил его исполнительность и чаще других засаживал его за прилавок, когда нужно было куда-нибудь ему отлучиться. Единственное оправдание — если бы не было церковного хора, спевок, то и не было бы рассказов ни «Святой ночью», ни «Студента», ни «Святых гор», ни «Архиерея», не было бы, может быть, и «Убийства» без такого его тонкого знания церковных служб и простых верующих душ. Сидение же в лавке дало ему раннее знание людей, сделало его взрослей, так как лавка его отца была клубом таганрогских обывателей, окрестных мужиков и афонских монахов. Конечно, кроме лавки, помогло еще узнать людей и то, что он с шестнадцати лет жил среди чужих, зарабатывая себе на хлеб, а затем в Москве еще студентом много толкался в «мелкой прессе», где человеческие недостатки и даже пороки не очень скрываются. Он назвал эту среду «кичеевщиной», по фамилии Петра Кичеева, «типичного представителя продажной мелкой прессы». Помогла и профессия врача. Он чуть ли не с первых курсов стал летом работать в земских больницах в Новом Иерусалиме, в Воскресенске. Его брат, Иван Павлович, получил место учителя в церковно-приходской школе, квартира была из четырех комнат, и семья Чеховых на лето приезжала к нему.

Потом они снимали флигель на летние месяцы в Бабкине, имении Киселевых, с которыми они очень сдружились. Это — была уже подмосковная. Отец М. В. Киселевой, Бегичев, был директором Малого театра, а потому у Киселевых вечно бывали актеры, музыканты, певцы, художники. У них Чехов вошел вместе с Марьей Павловной, которая очень подружилась с М. В. Киселевой, в артистическую среду, часто много слушал там у них серьезную музыку.

При его восприимчивости и наблюдательности, семь лет в этих местах дали ему, как писателю, очень

много. Ведь и «Унтер Пришибеев» оттуда, и «Дочь Альбиона», и «Егерь», и «Злоумышленник», и «Хирургия», и «Налим»...

И странно, как много дали его произведений подмосковные места, так ничего не дал Псел, где он прожил два лета 88, 89, хотя восторгался этими местами выше меры, но в литературе его они не отразились.

**
*

Меня поражает, как он моложе тридцати лет мог написать «Скучную историю», «Княгиню», «На пути», «Холодную кровь», «Тину», «Хористку», «Тиф»... Кроме художественного таланта, изумляет во всех этих рассказах знание жизни, глубокое проникновение в человеческую душу в такие еще молодые годы. Конечно, работа врача ему очень много дала в этом отношении. Он всегда говорил мне и профессору Россолимо, что благодаря ей область его наблюдений расширилась и обогатила его знаниями, настоящую цену которых для него, как писателя, может понять только врач. «Знание медицины меня избавило от многих ошибок, которых не избег и сам Толстой, например, в «Крейцеровой сонате».

И, конечно, если бы не туберкулез, он никогда бы медицины не бросил. Лечить он очень любил, звание врача ставил высоко, — недаром в паспорте Ольги Леонардовны он написал: «жена лекаря»...

Писание же в «Будильниках», «Зрителях», «Осколках», — научило его маленькому рассказу: извольте не переступить ста строк!

Меня научили краткости стихи.

**
*

У Чехова в характере все было от матери (азиатки). Одно наставительство от отца, взять хотя его некоторые письма к братьям.

Еще гимназистом он пишет младшему брату Мише по поводу того, что тот назвал себя «ничтожным и незаметным братишкой», когда Антоше было всего 17 лет, а Мише — 12:

«Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам быть одинаковыми. Ничтожество свое знавай, знаешь где? Перед Богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми, среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну, и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожество. Не смешивай «смиряться» с «сознанием своего ничтожества».

**
*

Моим друзьям Елпатьевским Чехов не раз говорил:

— Я не грешен против четвертой заповеди...

И действительно еще гимназистом в письме от 29 июля 1877 г. Антоша писал своему двоюродному брату М. М. Чехову, которого называли Чохов, прототип Печаткина в повести «Три года» (Это он, удаляя по воздуху рукой, говорил «кроме» и заказывал в трактире так: «Принеси мне главного мастера клеветы и злословия с пюре». Оторопелый половой, подумав, догадался и принес порцию языка с пюре. И в этом есть что-то чеховское):

«Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело

их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие».

**
*

С самых первых лет студенчества А. П. взял на свои плечи всю семью.

**
*

Со второго семестра первого курса он начал работать в юмористических журналах, куда его провел брат Александр, который еще в пору таганрогской жизни Антоши помещал его остроты в «Будильнике».

Чехов редкий писатель, который начинал, не думая, что он будет не только большим писателем, а даже просто писателем. А ведь 6 августа 1883 года он послал в «Осколки» «Дочь Альбиона», рассказ совсем не юмористический...

**
*

Писать же приходилось вот при каких условиях: «Передо мной моя не литературная работа, хлопающая немилосердно по совести, а в соседней комнате отец читает матери вслух «Запечатленного анге-

ла»... Кто-то завел шкатулку, и я слышу «Елену Прекрасную»... Хочется удрать на дачу, но уже час ночи... Для пишущего гнусней обстановки придумать трудно...»

И только с 1885 г., когда Чеховы переселились на Якиманку, и А. П. стал врачом, у него оказалась отдельная комната, кабинет с камином.

Живость, работоспособность его поразительна, — ведь среди всех писаний он окончил самый трудный факультет.

**
*

Затем его замечательное письмо к старшему брату Александру от 20 февраля 83 г., где он пишет ему относительно его незаконного брака с его женой, которой тульская консистория после развода запретила вступать в брак. Отец к их незаконному сожительству относился отрицательно, Александр Павлович страдал.

...«Не знаю, что ты хочешь от отца? Враг он куренья табаку и незаконного сожительства — ты хочешь сделать его другим? С матерью и теткой можно проделать эту штуку, а с отцом нет. Он такой же кремень, как раскольники, ничем не хуже и не сдвинешь его с места. Это его, пожалуй, и сила. Он, как бы сладко ты ни писал, вечно будет вздыхать, писать тебе одно и то же, и, что хуже всего, страдать».

В конце письма прибавляет:

...«Я каюсь, слишком нервен с семьей. Я вообще нервен. Груб, часто несправедлив...»

А каким он стал: он прежде всего воспитывал себя, а потом уже своих. И как многие, кто вспоминал

и характеризовал его, неправильно понимали его характер. От природы он был вспыльчив, как он пишет в одном письме к Книппер.

**
*

Замечательно, как А. П., будучи 26-летним врачом, объясняет в письме брату Николаю, что такое воспитание. (Письмо помечено мартом 1886.)

«Воспитанные люди должны удовлетворять следующим условиям:

1) Они уважают человеческую личность, всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы...

2) Они уважают чужую собственность, а потому платят долги.

3) ...Не лгут даже в пустяках... Они не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают...

4) Они не унижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие...

5) Они не суетны. Их не занимает рукопожатие пьяного Плевако.

6) Если имеют в себе талант, то уважают его... Они жертвуют для него всем. Они брезгливы.

7) Они воспитывают в себе эстетику... Им нужна от женщины не постель... Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не ..., а матерью...

...Тут нужны непрерывные дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час.

Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти себе извинение в характере матери, в кровохарканье и проч.»

Да, это письмо интересно не только, как назидательное, но из него можно понять, как А. П. сам себя воспитывал, как он был строг к себе.

**
*

В ноябре 1884 года он с помощью Лейкина устроился корреспондентом «Из зала суда» от «Петербургской газеты» по «Скопинскому делу». Отчеты его были блестящи, с художественными характеристиками. Мнения независимы, например, Плевако ему не понравился. Кончилось все печально — длительным кровохарканьем, к которому он отнесся легкомысленно, и в голову не пришло, что оно чахоточное.

**
*

В 1885 г. поездка в Петербург. До этого времени из настоящих писателей он был знаком только с Лесковым, которого любил, и который в Москве в 1883 году, когда они возвращались вместе откуда-то, где много пили, его «помазал как Самуил Давида»...

Познакомился Чехов в Петербурге в этот приезд с Сувориным, Григоровичем и Бурениным.

Вернувшись в Москву, он переменил квартиру, — она оказалась сырой, и он побоялся, что опять будет кровохарканье, снял напротив прежней на той же Якиманке, квартира находилась под помещением, которое кухмистер сдавал под свадьбы и поминки. А. П. писал:

«В обед — поминки, ночью — свадьбы... смерть и зачатие».



1886 г. 15 февраля под подписью А. Чехов появился впервые рассказ «Панихида» в «Новом времени».

21 февраля — письмо от Суворина.

Лейкин решил издать книгу его произведений под заглавием «Пестрые рассказы», (я эту книгу прочел в поезде, не отрываясь, купив ее в Ельце, на вокзале, в 16 лет, и пришел в восторг. Виньетку для нее нарисовал Шехтель, друг Николая Чехова, в будущем известный архитектор. Я был знаком с ним, встречался у Марьи Павловны в Москве. Милый, талантливый толстяк).

В конце марта Чехов получил письмо от Григоровича, заставившее его задуматься о себе, как о писателе.

20 марта 86 г. Антон Павлович ответил ему:

«...Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь, перед чистотой Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным... Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье... Не помню я ни одного рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егерь», который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут заметки о пожарах... машинально, полубессознательно, нисколько не заботясь ни о читателе, ни о себе самом».

Кстати сказать, мне «Егерь» не нравится, — нахожу его слабым рассказом.

Далее Чехов признается, что «писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, Бог знает, почему берег и тщательно прятал».

«Первое, что толкнуло меня на самокритику, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было».

Удивительный был человек! Удивительный писатель! — прибавлю я.

**

В том же 86 году 26 октября в «Новом времени» была напечатана его повесть «Тина». Чехов послал ее своей близкой знакомой М. В. Киселевой, владелице Бабкина, где Чеховы проводили лето в 85, 86, 87 годах.

Ответ он получил в конце года, возмущенный. Письмо полно негодования:

«...Присланный Вами фельетон мне совсем не нравится, хотя я убеждена, что к моему мнению присоединятся весьма и весьма немногие. Написан он хорошо, читающие мужчины пожалеют, что судьба не натолкнула их на подобную Сусанну, которая сумела бы распотешить их разнузданность, женщины втайне позавидуют ей, но большая часть публики прочтет с интересом и скажет: «Бойко пишет этот Чехов, молодец!» Может быть, Вас удовлетворяют 115 руб. и эти отзывы, но мне лично досадно, что писатель В а ш е г о с о р т а*), то есть необделенный от Бога, — показывает мне только одну «навозную кучу». Грязью, негодьями, негодяйками кишит мир, и впечатления, производимые ими, не новы, но зато с какой благодарностью относишься к тому писателю,

*) Разбивка здесь, как в дальнейшем тексте, И. А. Бунина.

который, проведя Вас через всю вонь навозной кучи, вдруг вытащит оттуда жемчужное зерно, — зачем же тогда одна куча? Дайте мне зерно, чтобы в моей памяти стусеивалась вся грязь обстановки, от Вас я вправе требовать этого, а других, не умеющих отстоять и найти человека между четвероногими животными — я и читать не стану... Может быть, было бы лучше промолчать, но мне нестерпимо хотелось ругнуть Вас и Ваших мерзких редакторов, которые так равнодушно портят Ваш талант. Будь я редактором — я, для Вашей же пользы, вырезала бы Ваш этот фельетон... фельетон Ваш все-таки препротивный. Предоставьте писать подобные (по содержанию!) разным нищим духом и обездоленным судьбою писакам: Окрейц, Альбову и тутти кванти бездарностям».

Только через три недели Чехов написал ответ:

«...У меня и у Вас, и у критиков всего мира нет никаких прочных данных, чтобы иметь право отрицать эту литературу. Я не знаю, кто прав Гомер, Шекспир, Лопе-де-Вега, вообще древние, не боявшиеся рыться в «навозной куче», но бывшие гораздо устойчивее нас в нравственном отношении, или же современные писатели, чопорные на бумаге, но холодноциничные в душе и в жизни? Я не знаю, у кого плохой вкус: у греков ли, которые не стыдились воспевать любовь такой, какова она есть на самом деле в прекрасной природе, или же у читателей Габорио, Марлитта, Пьера Бобо (П. Д. Боборыкина, И. Б.)?.. Ссылка на Тургенева и Толстого, избегавших «навозную кучу», не проясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает: ведь было же раньше их поколение писателей, считавших грязью не только «негодяев с негодяйками», но даже описание мужиков и чиновников ниже титулярного... Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле.

Ее назначение — правда безусловная и честная. Су- живать ее функции такой специальностью, как добы- вание зерен, так же для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы... Для химиков нет ничего на земле нечистого. Литер- ратор должен быть так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жиз- ни, как и добрые».

А М. В. Киселева была писательницей, дом их был культурный, у них бывали и художники, и му- зыканты, и актеры. Чехов любил эту семью, и они были дружны.

Через пятьдесят лет, после выхода в свет моих «Темных аллей», я получал подобные письма от по- добных же Киселевых и приблизительно некоторым из них отвечал так же. Действительно все повторя- ется.

II

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Видались мы тогда мельком, и я не упомянул бы об этом, если бы мне не запомнилось несколько очень характерных фраз его.

— Вы много пишете? — спросил он меня однажды.

Я ответил, что мало.

— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном.

— Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

— По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем...

После таких мимолетных встреч и случайных разговоров, в которых были затронуты любимые темы Чехова — о том, что надо работать «не покладая рук» и быть в работе до аскетизма правдивым и простым, — мы не виделись до весны девяносто девятого года. Приехав на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил Чехова на набережной.

— Почему не заходите ко мне? — сказал он. — Непременно приходите завтра.

— Когда? — спросил я.

— Утром, часу в восьмом.

И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил:

— Мы встаем рано. А вы?

— Я тоже, — сказал я.

— Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе?

— Изредка пью.

— Пейте каждый день. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон. А то плохо работается.

Я поблагодарил за приглашение, и мы молча прошли всю набережную и сели в сквере на скамью.

— Любите вы море? — сказал я.

— Да, — ответил он. — Только уж очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо, — сказал я.

— Не знаю, — ответил он, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенснэ и, очевидно, думая о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.

Может быть, это покажется кому-нибудь манерностью? Но — Чехов и манерность! Поставить рядом эти два слова могут только те, которые не имеют никакого понятия о Чехове. «Скажу прямо, — говорит один из хорошо знавших Чехова, — я встречал людей не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню». Да, он любил только искреннее, органическое, — если только оно не было грубо и косно, — и положительно не выносил фразеров,

книжников и фарисеев, особенно тех из них, которые настолько вошли в свои роли, что роли стали их вторыми натурами. В своих работах он почти никогда не говорил о себе, о своих вкусах, о своих взглядах, что и повело, кстати сказать, к тому, что его долго считали человеком беспринципным, необщественным. В жизни он также никогда не носился со своим «я», очень редко говорил о своих симпатиях и антипатиях: «я люблю то-то»... «я не выношу того-то»... это не Чеховские фразы. Но симпатии и антипатии его были чрезвычайно устойчивы и определены, и среди его симпатий одно из первых мест занимала именно естественность. «Море было большое»... Ему, с его постоянной жаждой наивысшей простоты, с его отвращением ко всему вычурному, напряженному, казалось это «чудесным». А в его словах об офицере и музыке сказалась другая его особенность: сдержанность. Неожиданный переход от моря к офицеру, несомненно, вызван был его затаенной грустью о молодости, о здоровье. Море пустынно... А он любил жизнь, радость, и за последние годы эта жажда радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась в его разговоре. Но именно только с к а з ы в а л а с ь.

Слова за последнее время стали очень дешевы. И хорошие и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего так говорят об умерших. Очень много легкости, лжи, неточностей, а порой — просто скудоумия можно встретить и в воспоминаниях о Чехове. Пишут, например, что Чехов поехал на Сахалин за тем, чтобы поддержать репутацию «серьезного» человека, и в дороге так простудился, что нажил чахотку... Пишут, что смерть Чехова была ускорена постановкой «Вишневого сада»; накануне спектакля Чехов будто бы так волновался, так боялся, что его пьеса

не понравится, что всю ночь бредил... Все это суший вздор. На Сахалин Чехов поехал потому, что его интересовал Сахалин, и еще потому, что в путешествии он хотел встряхнуться после смерти брата Николая, талантливого художника. И чухотку он нажил не в Сибири, — а уже в 1884 году у него было кровохарканье в декабре после «Скопинского дела» — хотя, несомненно, что ездить ему не следовало: взять бы этот страшно тяжелый двухмесячный путь на перекладных, ранней весной, в дождь и в холод, почти без сна и положительно на пище св. Антония, из-за дикости сибирских трактов! А что до волнений о «Вишневом саде»... Пишущие, конечно, очень чувствительны к тому, что говорят о них, и много, много в пишущих чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической. Но как все это далеко от такого большого и сильного человека, как Чехов! Ибо кто с таким мужеством следовал велениям своего сердца, а не велениям толпы, как он? Кто умел так, как он, скрывать ту острую боль, которую причиняет человеческому уму человеческая глупость? Известен только один вечер, когда Чехов был явно потрясен неудачей, — вечер постановки «Чайки» в Петербурге. Но с тех пор много воды утекло... Да и кто мог знать, волнуется он или нет? Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди. А что же сказать о посторонних и особенно о тех не чутких и не умных, к откровенности с которыми Чехов был органически не способен?

Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеенко, «вялым увальнем с лунообразным лицом». Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. И лицо у него было не «лунообразное», а просто — большое, очень умное и очень спокойное. Вот это-то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова

«увальнем», — спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было — даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное — спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергеенко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве «Антоша» был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича! В юности, — в те счастливые дни, когда ему доставляло наслаждение проектировать такие произведения, как «Искусственное разведение ежей, — руководство для сельских хозяев», — это спокойствие как бы потонуло в пышном расцвете прирожденной Чехову жизнерадостности: все, кто знали его в эту пору, говорят о неотразимом очаровании его веселости, красоты его открытого, простого лица и его лучистых глаз. Но годы шли, дух и мысль становились глубже и прозорливее — и Чехов снова овладел собою. Это было время, когда он, смело отдав дань молодости, первым непосредственным проявлениям своей богатой натуры, уже приступил к суровому в своей художественной неподкупности изображению действительности. И мои первые встречи с ним относятся именно к этому времени.

В Москве, в девяносто пятом году, я увидел человека средних лет, в пенсне, одетого просто и приятно, довольно высокого, очень стройного и очень легкого в движениях. Встретил он меня приветливо, но так просто, что я, — тогда еще юноша, не принявший эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице; во всем его облике попрежнему сквозило присущее ему изящество, — однако, это было изящество уже

не молодого, а много пережившего и еще более облагороженного пережитым человеком. И голос его звучал уже мягче... Но, в общем, он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо... На другое утро, после встречи на набережной, я поехал к нему на дачу. Ясно помню это веселое солнечное утро, которое мы провели с Чеховым в его садике. Он был очень оживлен, много шутил и, между прочим, прочитал мне единственное, как он говорил, стихотворение, написанное им, «Зайцы и китайцы, басня для детей». И с тех пор я начал бывать у него все чаще и чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим, конечно, изменилось и отношение ко мне Чехова. Оно стало оживленнее, сердечнее... Но сдержанность осталась; и проявлялась она не только в обращении со мной, но и с людьми самыми близкими ему, и означала она, как я убедился потом, не равнодушие, а нечто гораздо большее.

Белая каменная дача в Аутке, под южным солнцем и синим небом; ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил Чехов, всегда любивший цветы, деревья и животных; его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана да огромное полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину реки Учан-Су и синий треугольник моря; те часы, дни, иногда даже месяцы, которые я проводил в этой даче, и то сознание близости к человеку, который пленял меня не только своим умом и талантом, но даже своим суровым голосом и своей детской улыбкой — останутся навсегда одним из самых лучших воспоминаний моей

жизни. Был и он настроен ко мне дружески, иногда почти нежно. Но та сдержанность, о которой я упомянул, не покидала его даже в самые задушевные минуты наших разговоров. И она была во всем.

Он любил смех, но смеялся своим милым, заразительным смехом только тогда, когда кто-нибудь другой рассказывал что-нибудь смешное; сам он говорил самые смешные вещи без малейшей улыбки. Он очень любил шутки, нелепые прозвища, мистификации; в последние годы, как только ему хоть не надолго становилось лучше, он был неистощим на них; но каким тонким комизмом вызывал он неудержимый смех! Бросит два-три слова, лукаво блеснет глазом поверх пенснэ... А его письма! Сколькó милых шуток было в них всегда, при их совершенно спокойной форме! «Милый Иван Алексеевич, стало быть, позвольте на Страстной ждать Вас. Непременно обязательно приезжайте, у нас будет очень много закусок, к тому же в Ялте такая теплынь теперь, столько цветов! Приезжайте, сделайте милость! Жениться я раздумал, не желаю, но все же, если Вам покажется скучно, то я, так и быть уж, пожалуй, женюсь...» (25 марта 1901 года). «Дорогой Иван Алексеевич, завтра я уезжаю в Ялту, куда и прошу написать мне поздравление с законным браком... Желаю Вам всего хорошего-с, будьте здоровы-с. Ваш А. Чехов, аутский мещанин». (30 июня 1901 г.).

Но сдержанность Чехова сказывалась и во многом другом, более важном, свидетельствуя о редкой силе его натуры. Кто, например, слышал от него жалобы? А причин для жалоб было много. Он начал работать в большой семье, терпевшей в ту пору его молодости нужду, и работал мало того, что за гроши, но еще и в обстановке, способной угасить самое пылкое вдохновение: в маленькой квартирке, среди говора и шума, часто на краешке стола, вокруг которого

сидела не только вся семья, но еще несколько человек гостей-студентов. Он долго нуждался и потом... Но никто и никогда не слышал от него сетований на судьбу, и это вытекало не из скрытности его характера и не из ограниченности его потребностей: будучи на редкость благородно-скромным в своем образе жизни, он в то же время прямо-таки ненавидел серую, скудную жизнь... Он пятнадцать лет был болен изнурительной болезнью, которая неуклонно вела его к смерти; но знал ли это читатель, — русский читатель, который слышал столько горьких писательских воплей? Больные любят свое привилегированное положение: часто самые сильные из них почти с наслаждением терзают окружающих злыми, горькими, непрестанными разговорами о своей болезни; но поистине было изумительно то мужество, с которым болел и умер Чехов! Даже в дни его самых тяжелых страданий часто никто не подозревал о них.

— Тебе нездоровится, Антоша? — спросит его мать или сестра, видя, что он сидит в кресле с закрытыми глазами.

— Мне? — спокойно ответит он, открывая глаза, такие ясные и кроткие без пенснэ. — Нет, ничего. Голова болит немного.

Он горячо любил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером или Толстым, — было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Но его разговоры о литературе были совсем не похожи на те обычные профессиональные разговоры,

которые так неприятны своею кружковой узостью, мелочностью своих чисто практических и чаще всего — личных интересов. Будучи прежде всего литератором, Чехов, однако, настолько резко отличался от большинства пишущих, что к нему даже не шло слово «литератор», как не идет оно, например, к Толстому. И поэтому разговоры о литературе Чехов заводил только тогда, когда знал, что его собеседник любит в литературе прежде всего искусство, бескорыстное и свободное.

— Никому не следует читать своих вещей до напечатания, — говорил он нередко. — А главное, никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал — пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. После тех высоких требований, которые поставил своим мастерством Мопассан, трудно работать, но работать все же надо, особенно нам, русским, и в работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал.

Все, что совершалось в литературном мире, было очень близко его сердцу, и много волнений пережил он среди той глупости, лжи, манерности и фокусничества, которые столь пышно цветут теперь в литературе. Но никогда я не замечал в его волнениях мелочной раздражительности, и никогда не примешивал он к ним личных чувств. Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия, и поэтому, если бы у меня была хоть тень сомнения относительно писательского самолюбия Чехова, я совсем не затронул бы вопроса о самолюбиях. Но он действительно радовался от всего сердца всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, наивысшей бранью в его устах. К своим же

успехам и неудачам он относился так, как мог относиться только он один.

Он работал почти 25 лет, и сколько плоских и грубых упреков выслушал он за это время! Один из самых величайших и деликатнейших русских поэтов, он никогда не говорил языком проповедника. А можно ли при этом рассчитывать на понимание и благосклонность критики в России? Ведь требовали же от Левитана, чтобы он «оживил» пейзаж... подрисовал коровку, гусей или женскую фигуру! И, конечно, не сладко было Чехову иметь таких критиков, и много горечи они влили в его душу, и без того отравленную русской жизнью. И горечь эта сказывалась, но опять-таки только с к а з ы в а л а с ь.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

И чаще всего на разговоры о его славе и о том, что о нем пишут, он отвечал именно так — двумя-тремя словами или шуткой.

— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

А он только покосится поверх пенснэ и, вытянув лицо, ответит своим грудным басом:

— Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а то вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент»... И слово-то противное: «пессимист»... Нет, критики еще хуже, чем актеры. А ведь, знаете, актеры

на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества.

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

Злым Чехова я никогда не видал; раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой. Но и холодным я его не видал. Холоден он бывал, по его словам, только за работой, к которой он приступал всегда уже после того, как мысль и образы его будущего произведения становились ему совершенно ясны, и которую он исполнял почти всегда без перерывов, неукоснительно доводя до конца.

— Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, — сказал он однажды.

Но, конечно, это была совсем особая холодность. Ибо много ли среди русских писателей найдется таких, у которых душевная чуткость и сила восприимчивости были бы сложнее, больше чеховских?

Чтобы эта сложная и глубокая душа стала ясна, нужно, чтобы какой-нибудь очень большой и очень разносторонний человек написал книгу жизни и творчества этого «несравненного», по выражению Толстого, художника. Я же всей душой свидетельствую пока одно: это был человек редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости.

Быть правдивым и естественным, оставаясь в то же время пленительным, — это значит быть необык-

новенной по красоте, цельности и силе натурой. И так часто говорил я здесь о спокойствии Чехова именно потому, что его спокойствие кажется мне свидетельствующим о редкой силе его природы. Оно, я думаю, не покидало его даже в дни самого яркого расцвета его жизнерадостности, и, может быть, именно, оно дало ему в молодости возможность не склониться ни перед чьим влиянием и начать работать так беспритязательно и в то же время так смело, «без всяких контрактов с своей совестью» и с таким неподражаемым мастерством.

Помните слова старого профессора в «Скучной истории»?

«Я не скажу, чтобы французские книжки были и умны и талантливы, и благородны: но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы...»

И вот этим-то чувством личной свободы и отличался Чехов, не терпевший, чтобы и других лишали ее, и становившийся даже резким и прямолинейным, когда видел, что на нее посягали.

Как известно, эта «свобода» не прошла ему даром, но Чехов был не из тех, у которых две души: одна для себя, другая — для публики. Успех, который он имел, очень долго, до смешного, не соответствовал его заслугам. Но сделал ли он за всю жизнь хоть малейшее усилие для того, чтобы увеличить свою популярность? Он буквально с болью и отвращением смотрел на все те приемы, какие нередко пускаются теперь в ход для приобретения успеха.

— А вы думаете, что они — писатели! Они — извозчики! — говорил он с горечью.

И его нежелание выставлять себя на вид доходило порой до крайностей.

«Публикует «Скорпион» о своей книге неряшливо, — писал он мне после выхода первой книги «Се-

верных цветов». — Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», дал себе клятву больше уже никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами».

Это было зимой 1900 г., когда Чехов, заинтересовавшись кое-какими черточками в деятельности только что организованного тогда издательства «Скорпион», дал, по моему настоянию, в альманах этого книгоиздательства один из своих юношеских рассказов: «В море». Впоследствии он не раз раскаивался в этом.

— Нет, все это новое московское искусство — вздор, — говорил он. — Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение искусственных минеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

А его сдержанность проистекала из великого аристократизма его духа и из его неустанного стремления быть точным в каждом своем слове. Придет время, когда поймут как следует и то, что это был не только «несравненный» художник, не только изумительный мастер слова, но и несравненный поэт... Только когда придет оно? Еще не скоро разгадают во всей полноте его тонкую и целомудренную поэзию, его силу и нежность.

«Здравствуйте, милый Иван Алексеевич! — писал он мне в Ниццу. — С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет — неизвестно... Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, не думайте о болезнях и пишите почаще Вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурых северных

компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю. Ваш А. Чехов». (8 янв. 1904 г.).

«Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю...» Такие слова я слышал от него редко. Очень часто я скорее чувствовал, что он должен произнести их, и это были минуты, в которые мне было очень больно.

Помню одну ночь ранней весной. Было уже поздно; вдруг меня зовут к телефону. Подхожу и слышу бас Чехова:

— Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.

— Кататься? Ночью? — удивился я. — Что с вами, Антон Павлович?

— Влюблен.

— Это хорошо, но уже десятый час... И потом — вы можете простудиться...

— Молодой человек, не рассуждать-с!

Через десять минут я был уже в Аутке. В доме, где зимой Чехов жил только с матерью, была, как всегда, мертвая тишина и темнота, — только из комнаты Евгении Яковлевны пробивался сквозь дверную щель свет, да тускло горели две свечечки в кабинете, теряясь в полумраке. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого тихого кабинета, где для Чехова протекло столько одиноких зимних вечеров, полных, может быть, горьких дум о судьбе, так одарившей его и так посмеявшейся над ним.

— Какая ночь! — сказал он мне с необычной даже для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня на пороге кабинета. — А дома — такая — скука! Только и радости, что затрещит телефон, да Софья Павловна спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Орианду. Простужусь — наплевать!

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками, с редкими лучистыми звездами в голубом глубоком небе. Экипаж мягко катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую тусклым золотом равнину моря. А потом пошел лес с легкими узорами теней, похожими на паутину, но уже по-весеннему нежный, красивый и задумчивый. Потом зачернели толпы кипарисов, возносившихся к лучистым звездам. И когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубоватобледных в лунном свете развалин дворца, Чехов внезапно сказал мне:

— Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

— Почему семь? — спросил я.

— Ну семь с половиной.

— Нет, — сказал я. — Поэзия живет долго и чем дальше, тем сильнее.

Он ничего не ответил, но когда мы сели где-то на скамью, с которой снова открылся вид на блестящее в месячном свете море, он скинул пенснэ и, поглядев на меня добрыми и усталыми глазами, сказал:

— Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль», «аккорд» или «на бой, на бой, в борьбу со тьмой!»

— Вы грустны сегодня, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его простое, доброе и прекрасное лицо, слегка бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

— Это вы грустны, — ответил он. — И грустны от того, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

— Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам.

На этот раз он ошибся: он прожил меньше.

Умер он спокойно, без страданий, среди тишины и красоты летнего рассвета, который так любил всегда. И когда умер, «выражение счастья появилось на его сразу помолодевшем лице...»

III

Весною 1900 г., когда в Крыму играл Художественный театр, я тоже приехал в Ялту. Встретился тут с Маминым-Сибиряком, Станюковичем, Горьким, Телешовым, Куприным. Привезены были четыре пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокие» Гауптмана и «Гедда Габлер» Ибсена. Спектакли шли сначала в Севастополе, потом в Ялте.

Все были оживлены, возбуждены, Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. Мы с утра отправлялись в городской театр, ходили по сцене, где шли усиленные приготовления к спектаклю, а затем всей компанией направлялись к Чехову, где проводили почти все свободное время.

Чехов в те дни увлекался «Одинокими», много об этом говорил, считал, что Художественный театр должен держаться подобных пьес.

**
*

Станиславский вспоминает об этих днях:

«Приезжали и уезжали. Кончался один завтрак, подавался другой, Марья Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга, или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству.

«В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит ка-

мень, в третьей кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит и Антон Павлович и хохочет, помирая от смеха. Никто не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении.

«Горький со своими рассказами о его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остроумиями — все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте, говорили даже об устройстве квартир для этого. Словом — весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство — вот атмосфера, в которой мы в то время находились».

— Мало ли о чем мечтают русские люди, когда им хорошо, — прибавлю я.

**
*

И вот среди всего этого оживления подошел ко мне известный в Москве адвокат, Иван Николаевич Сахаров, один из тех, кто всегда вертится около актеров, писателей, художников, и сказал:

— Иван Алексеевич, уезжайте отсюда...

— Почему? — удивился я.

— Вам, конечно, очень тяжело здесь среди таких знаменитостей, как Горький, например...

— Нисколько, — сказал я сухо, — у меня иной путь, чем у Горького, буду академиком... и неизвестно, кто кого переживет...

Он с глупой улыбкой, пожав плечами, отошел. Я же продолжал бывать и в театре, и у Чеховых.

Прощальный завтрак давала на широкой крыше дома Фанни Карловна Татарина, пригласившая на него всех артистов, писателей и друзей театра. Было шумно, оживленно, многолюдно. Вот тут-то и поднялся разговор об устройстве квартир для таких приездов.

Начался разезд. Уехал и я.

После избрания меня почетным академиком в 1909 г. Сахаров, встретившись со мной в Литературном кружке, напомнил мне с нескрываемым удивлением наш разговор в Крыму...

**

В конце 1900 года я вернулся из заграничной поездки с Куровским в Одессу и вскоре отправился в Ялту. Антона Павловича не было, он проводил зиму в Ницце, Марья Павловна пригласила меня жить у них «до возвращения Антоши». Я согласился, некоторое время мы жили втроем, а потом я остался вдвоем с Евгенией Яковлевной.

Теперь я из письма Чехова к матери узнал, что Антон Павлович был доволен, что я гощу у них.

Жить в аутской даче мне было приятно. Пробовал писать, делал заметки о нашем с Куровским путешествии. Много читал. Подолгу вел разговоры с матерью Чехова.

С Марьей Павловной мы иногда откровенно беседовали. Она, добродушно хохоча, много рассказывала о Левитане, который называл ее Ма-Па, хорошо его изображала: он как-то пришепetyвал. Рассказывала и о Бабкине, где Левитан тоже проводил свое летнее время, о его психических недомоганиях. Вот в эти-то дни она и сообщила мне об увлечении Анто-

на Павловича Ликой. Теперь, когда для меня многое выяснилось, я понимаю, что никакого увлечения Ликой (Лидией Стахивеиной Мизиновой) у Антона Павловича не было. Она была влюблена в него. Он это видел. Ему же не нравился ее характер, о чем он писал сестре, писал, что у нее нет вкуса. При взаимной любви этого не бывает. А о том, что она была задета Чеховым можно понять из ее письма, где она объясняет Чехову свое увлечение Потапенкой: «А причина этому Вы»...

Ездили мы с Марьей Павловной на водопад Учансу, в Гурзуф.

Она мне рассказала, что из-за брата не вышла замуж.

— Когда мне было сделано предложение, — добавила Марья Павловна, — я сказала об этом Антоше. Он сдержанно поздравил меня, но по лицу я поняла, что ему тяжело... и отказала.

**

*

Да, в январе 1901 г. я все еще жил у Чеховых. Сохранилась у меня даже запись тех времен:

Крым, зима 1901 г. на даче Чехова.

Чайки как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена как шампанское.

Провалы в облаках — там какая-то дивная неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-Ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

Красавица Березина (!).



31 января было первое представление «Трех сестер», конечно Марья Павловна и «мамаша», как мы все звали Евгению Яковлевну, очень волнуются. К Синани должна была придти телеграмма из театра. Их слуга Арсений посылается к Синани. Марья Павловна просит из города позвонить по телефону.

Минут через двадцать Арсений взволнованным голосом сообщает:

— Успех аграмадный...

Собрались гости: местная начальница гимназии В. К. Харкевич, С. П. Бонье, Средины, конечно, выпили по этому случаю.

В начале февраля Марья Павловна уехала в Москву, а я остался до приезда Антона Павловича с мамашей, с которой у меня была большая дружба и которая мне много рассказывала об Антоше.

В каждом ее слове чувствовалось обожание.



В середине февраля, — как я теперь вижу по письмам, — Антон Павлович вернулся домой. Я переехал в гостиницу «Ялта», пережил очень неприятную ночь, — рядом в номере лежала покойница... Чехов, поняв, что я перечувствовал за эту ночь, слегка надо мной подшучивал...

Он настаивал, чтобы я бывал у него ежедневно с самого утра. И в эти дни мы особенно сблизились, хотя и не переходили какой-то черты, — оба были сдержаны, но уже крепко любили друг друга. У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как

с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший, — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество, — теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким: «Бунин уехал, и я один...»

По утрам пили чудный кофе. Потом сидели в садике, где он всегда что-нибудь делал в цветнике, или около плодовых деревьев. Шли разговоры о деревне, я представлял в лицах мужиков, помещиков, рассказывал о жизни своей в Полтаве, об увлечении толстовством, а он о жизни на Луге в имении Линтваревых; оба мы восхищались Малороссией (тогда так называлась Украина). Мы оба бывали в Святогорском монастыре, в гоголевских местах.

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему становилось лучше, он был неистощим на все это.

Иногда мы выдумывали вместе рассказы: то о захудалом чиновнике-деспоте, а то чувствительную повесть с героинями по имени Ирландия, Австралия, Невралгия, Истерия — все в таком роде, — блеска у него было много. Иногда я представлял пьяного. На карточке любительской, — не помню кем снятой, — в его кабинете мы сидим — он в кресле, а я на ручке кресла — у него смеющееся лицо, у меня злое, осовелое — я изображаю пьяного.

Иногда я читал ему его старые рассказы. Он как раз готовил их к изданию, и я часто видел, как он, перемарывая рассказ, чуть не заново его писал.

Как-то я выбрал и начал вслух читать его давнишний рассказ, написанный в 1886 г. «Ворона».

Сначала Антон Павлович хмурился, но по мере того, как развивалось действие, делался все благодушнее, понемногу стал улыбаться, смеяться. Правда, пьяных я умел изображать.

Иногда мы сидели и молчали, просматривая газеты и журналы. Смеялись и над некоторыми рецензиями о его рассказах, а особенно о моих. Критики еще боялись высказывать обо мне мнение, старались найти кому я подражаю. Случалось, что во мне находили «Чеховское настроение». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «море пахнет арбузом»... Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку — другое дело...

— Про какую курсистку?

— А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстому господину, высунувшемуся из окна...

**
*

В другой раз в сумерках я читал ему «Гусева», дико хвалил его, считая, что «Гусев» первоклассно хорош, он был взволнован, молчал. Я еще раз про себя прочел последний абзац этого рассказа:

— «А наверху в это время, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы»...

— как он любит облака сравнивать с предметами, — мелькнуло у меня в уме. — «Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погоды рядом с этим ложится золотой, потом розовый... Небо становится нежно сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке назвать трудно».

— Увижу ли я когда-нибудь его? — подумал я, — Индийский океан привлекал меня с детства... — И неожиданно глухой тихий голос:

— Знаете, я женюсь...

И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой...

Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной Книппер, но не был уверен, что он окончится браком. Я был уже в приятельских отношениях с Ольгой Леонардовной и понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет, когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна — актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: да это самоубийство! хуже Сахалина, — но промолчал, конечно.

За обедом и ужином он ел мало, почти всегда вставал из-за стола и ходил взад и вперед по столовой, останавливаясь около гостя и усиленно его угощая и все с шуткой, с метким словом. Останавливался и около матери и, взяв вилку и ножик, начинал мелко-мелко резать мясо, всегда с улыбкой и молча.

Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет какой у него был разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок... Ведь до тридцати лет написаны «Скучная история», «Тиф» и другие, поражающие житейским опытом его произведения.

Я вижу Чехова чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, раздраженным, несмотря на то, что я знал его в течение четырех лет наших близких отношений в плохие периоды его болезни. Там, где находился больной Чехов, царили шутка, смех и даже шалость.

Никогда не видал его в халате, всегда он был одет аккуратно и чисто. У него была педантическая любовь к порядку — наследственная, как настойчивость такая же наследственная, как и наставительность.

**
*

По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.

**
*

Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большие, сухие, приятные.

**
*

Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко: сам он говорил прекрасно — всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

**
*

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним.

**
*

Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку... Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора.

**
*

В письме к О. Л. Книппер от 20 февраля он пишет: «Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день». А 23 февраля ей же: «Был Бунин здесь, теперь он уехал, и я — один».

После моего отъезда мы изредка переписывались. В письме от 14 марта он возмущается «Скорпионом»: «От «Скорпиона» получил корректуру, в крайне неряшливом виде; с одной копеечной маркой, так что пришлось штраф платить; публикует «Скорпион» о своей книге тоже неряшливо, выставляя меня первым — и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», дал себе клятву больше уже никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами.

«А когда увидимся? После Пасхи, вероятно, приеду в Москву ненадолго, остановлюсь в «Дрездене».

Я получил от 25 марта 1901 г. письмо от Антона Павловича, где он просит, чтобы скульптор Эдварс, мой приятель, который хотел его лепить, отложил сеансы до сентября.

«Идет дождь. Чудесный дождь. Бабушка и Арсений благодарят за поклон и за память о них, а мать была растрогана».

Неожиданно для него приехала на Страстной Ольга Леонардовна. Приехал и я. Чехов в эти дни был особенно оживлен, чувствовал он себя хорошо. Был в Ялте и Куприн.

Чехов и при Ольге Леонардовне настаивал, чтобы я проводил все дни у него.

Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

— Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенснэ, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, отдельно повторял:

— Ну убедительно вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с венгеркой Книпшиц... Будем говорить о литературе...

После отъезда Ольги Леонардовны мы втроем, Марья Павловна, Антон Павлович и я, поехали в Су-Ук-Су, где очень весело завтракали, я тоже хотел платить, но Чехов сказал, что мы рассчитаемся дома, — он подаст счет; и подал шуточный:

Счет господину Букишону (французскому депутату и маркизу).

Израсходовано на вас:

1 переднее место у извозчика	5 р.
5 бычков а ла фам о натюрель	1 р. 50 к.
1 бутылка вина экстра сек	2 р. 75 к.
4 рюмки водки	1 р. 20 к.
1 филей	2 р.
2 шашлыка из барашка	2 р.
2 барашка	2 р.
Салад тирбушон	1 р.
Кофей	2 р.
Прочее	11 р.

Итого 27 р. 75 к.

С почтением Антон и Марья Чеховы, домовладельцы.

—

Букишоном он стал называть меня потому, что в какой-то газете он увидел портрет какого-то маркиза, который был на меня похож.

**
*

20 апреля я получил от него укоризненное письмо:

«Новый рассказ

А. П. Чехова

СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ

Альманах к-ва «Скорпион» Ц. 1 р. 50 к.»

Во-первых, я никогда не писал рассказа «Северные цветы», а во-вторых, зачем Вы ввели меня в эту компанию, милый Иван Алексеевич? Зачем?

20 апр.

Ваш А. Чехов».

**
*

В письме от 22 апреля он пишет Книппер уже о венчании, а в конце: «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Художественного театра 4-актный водевиль или комедию. И я напишу, если ничто не помешает, только отдам не раньше конца 1903 года» («Вишневый сад» — никогда он не думал о нем как о драме...)

В письме к Книппер от 26 апреля 1901 года он пишет:

«Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, — то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из церкви укатил бы не домой, а прямо в Звенигород. Или повенчаться в Звенигороде...»

Как я его понимаю!

**
**

В Москве обратился к доктору Щуровскому. Его диагноз:

«Притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой. Немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губ., если же кумыс не будет переносить, то — в Швейцарию».

**
**

25 мая Антон Павлович послал извещение матери: «Милая мама, благословите, женюсь. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше. Антон».

Венчание произошло тайно от всех; кто были свидетелями, я не знаю.

**
*

30 июня я получил письмо от Антона Павловича, в котором он просит написать поздравление с законным браком уже в Ялту. «Вы уезжаете в Одессу? Не забывайте, что от Одессы до Ялты рукой подать, приехать нетрудно». В этом письме он подписался «Аутский мещанин».

**
*

В Аксенове чувствовал он себя сносно, прибавил 12 фунтов, а в Ялте начал кашлять. Как сократил жизнь себе Антон Павлович, живя у моря!... Если проследить по письмам его здоровье, то увидишь, что ему почти всегда было в Ялте хуже, чем где-либо. И ни один врач не посылал его в снег, в Швейцарию! Только Щуровский условно, если «не поможет кумыс»...

Получил я письмо от Антона Павловича в Одессе, в августе: — ответы на мои вопросы. Узнал, что Книппер уезжает в Москву 20 августа, Марья Павловна — первого сентября.

Сообщает, что много пишет, по целым дням и просит, чтобы художник Нилус отложил писать с него портрет до будущего года.

Далее шутит: «буду ожидать вас с нетерпением. Буду с первого сентября день и ночь сидеть на пристани и ожидать парохода с Вами.

Очень возможно, что в Ялту приедет Горький.

...Не обманите же, приезжайте. Поживем в Ялте, а потом вместе в Москву поедем, буде пожелаете».

Я уже 5 сентября обедал у Чехова с каким-то прокурором. Антона Павловича нашел в плохом состоянии.

**
*

9 сентября Антон Павлович пишет жене: «Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин».

И опять начались бесконечные разговоры. Когда я приехал, он чувствовал себя весьма не хорошо.

Много рассказывал Антон Павлович о кумысе, где он поправился, а вернувшись в Ялту, «опять захирел, стал кашлять и в июле даже поплевывал кровью», восторгался степью, лошадьми, туземцами; только уж очень была серая публика и никаких удобств! Вкус кумыса похож на квас и непротивный, но, конечно, надоедает.

Через несколько дней ему стало лучше. Он в сентябре решил ехать в Москву, вероятно, уже сучал без жены.

Читал он в эти дни свои старые рассказы, некоторые почти писал заново, так, по его мнению, они были слабы.

До моего приезда в Ялте жили Дорошевич, умом которого восхищался Чехов, и артист Орленев, которого он считал талантливым, но беспутным; последнего я застал.

Жаловался на газету «Курьер»: «чуть не в каждом номере пишет про меня всякое вранье и пошлости...»

Ему хотелось поехать в Москву до репетиций «Трех сестер», чтобы сделать некоторые указания и, может быть, изменения.

Как я теперь узнал из письма к Книппер, Чехов обо мне ей на другой день моего приезда писал: «Бунин жизнерадостен»... На меня почти всегда Антон Павлович действовал возбуждающе.

**
*

Собрались тогда мы было поехать в Гурзуф, да пришлось отменить: Чехов должен был ехать к Льву Николаевичу Толстому.

Конечно, по его возвращении я уже был у него в Аутке и с жадностью слушал рассказы о Толстом. Как всегда, он восхищался ясностью его головы и тут сказал: «Знаете, что меня особенно восхищает в нем, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Почему? Потому что он смотрит на нас как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семеновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо он пишет не по-толстовски...»

**
*

А мне Илья Львович Толстой говорил в 1912 году, что у них в доме на писателей смотрели «вот как» и он нагибался и держал руку на высоте низа дивана, и, когда он мне это рассказывал, я вспомнил эти слова Чехова.

**
*

Мне все же кажется, что несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности.

**
*

15 сентября он уехал в Москву. Чеховы поселились на Спиридоновке в доме Бойцова, во флигеле. Я у них бывал.

В Москве он прожил с 17 сентября до 26 октября.

Он бывал на репетициях своей пьесы «Три сестры». Остался доволен.

В этот сезон шли разговоры о постройке нового театра, в Каретном ряду Художественному театру было уже неудобно и тесно. Но еще ни к чему определенному не пришли.

В октябре здоровье его стало хуже. Почему его не отправили в швейцарскую санаторию?

Вернувшись в Ялту, он жил с матерью, по целым дням читал корректуру.

**
*

5 декабря Чехов пишет А. Н. Веселовскому:
«Имею честь предложить на имеющиеся вакансии почетных академиков следующих кандидатов:

Михайловский Николай Константинович

Мережковский Дмитрий Сергеевич

Спасович Владимир Данилович

Вейнберг Петр Исаевич».

**
*

В это же время Горький получил разрешение жить в Крыму. Чехов жене сообщает: «дача у него на хорошем месте, но в доме суета сует, дети, старухи, обстановка не писательская».

Пишет, что читал конец повести Горького «Трое»: «Что-то удивительно дикое. Если бы написал это не Горький, то никто бы читать не стал...»

Ольга Леонардовна пообещала, что приедет на Рождество в Ялту, Чехов очень обрадовался, но это ей не удалось, и он стал нервничать: «Одни доктора говорят, что мне можно в Москву, а другие, что совсем нельзя, а оставаться здесь я не могу!»

10 декабря началось опять кровохарканье и продолжалось несколько дней. Антона Павловича уложили в постель. Конечно, Евгении Яковлевне трудно было вести дом и ухаживать за больным, да он и не допускал мать до ухода за собой. Отчасти это кровохарканье произошло из-за волнений за Толстого, который прибыл к дочери в Ялту и заболел.

Слава Богу, на Рождество приехала к брату Марья Павловна, и уход за ним стал настоящий, как и еда, — она была прекрасная хозяйка.

**
*

15 января 1902 г. я получил от Антона Павловича письмо. Поздравление с Новым годом и пожелания: «прославиться на весь мир, сойтись с самой хорошенькой женщиной и выиграть 200 тысяч рублей по всем трем займам», а у меня и одного не было... Сообщает, что он хворал месяца полтора. Затем:

...«Писал ли я Вам насчет «Сосен»? — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона».

«Итак будем ждать, приезжайте поскорее; буду рад очень».

В январе во время болезни Толстого Антон Павлович за жизнь Льва Николаевича очень боялся. Лечил Толстого Альтшуллер и держал Чехова в курсе его болезни.

7 февраля Толстому было особенно тяжело, плохо работало сердце. Чехов волнуется: «не выживет».

В это время, на короткий срок, чуть ли на два-три дня Ольга Леонардовна приезжала в Ялту на первой неделе поста, на второй неделе Художественный театр уже должен был играть в Петербурге, — «Три сестры», «В мечтах», «Мещане»...

**
*

Волновался в эти дни Антон Павлович еще потому, что Горького не утвердили академиком. Он запрашивал Кондакова, Короленко, хотя как можно было возмущаться тем, что не утвердили выбранного в почетные академики Горького, который находился под судом! Чехов, вероятно, не знал регламента, не знал, например, что всякий почетный академик мог, приехав в какой угодно город, потребовать в какое угодно время — для пользы просвещения — зал для лекции — и без всякой цензуры. Можно себе представить, как бы стал пользоваться этим правом Горький?.. Ведь Куприна не избрали в почетные академики, несмотря на то, что несколько раз поднимался этот вопрос только потому, что он под влиянием вина мог злоупотреблять где-нибудь в провинции этим правом. Я объясняю избрание Горького в почетные академики, писателя не с академическими достоинствами, только ненормальным состоянием умов нашего интеллигентного общества в начале этого века.

Горькому можно было поставить памятник, прославлять его на все лады, но избирать в академики...

Нужно отметить, что Чехов, когда посылал А. Н. Веселовскому список своих кандидатов, Горького не выставил, будучи человеком умным и трезвым. Но, когда его не утвердили, заволновался... Такое уже было время! А мотивировка отказа Антона Павловича от звания почетного академика слабая:

«В газетах было напечатано, что, ввиду привлечения Пешкова к дознанию по ст. 1035, выборы признаются недействительными. При этом было точно указано, что извещение исходит от Академии наук, а так как я почетный академик, то это извещение исходило и от меня. Я поздравил сердечно, и я же признал выборы недействительными, — такое противоречие не укладывается в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог».

Эту просьбу о снятии с него звания почетного академика Чехов послал А. Н. Веселовскому 25 августа 1902 года. Он волновался несколько месяцев, переписывался и с Кондаковым, и с Короленко, который тоже «просил снять с него звание почетного академика».

**
*

Весною я приехал в Ялту. Толстому стало лучше, и как-то при мне Чехов собирался его навестить. Волновался сильно: менял брюки и, хотя все время шутил, но все же с трудом подавлял свое волнение.

— Боюсь Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Серьезно я его боюсь, — говорил он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

— Нет, эти неприлично узки! Подумает: шелкопер!

И шел надевать другие и опять выходил, смеясь:

— А эти шириною с Черное море! Подумает: нахал!

**
*

Вернувшись, он сказал:

— Знаете, это какое-то чудо, нечто невероятное! Лежит в постели старик, телесно вполне едва живой, краше в гроб кладут, а умственно не только гениальный, сверхгениальный!

Говорить о литературе было нашим любимым делом: без конца Антон Павлович восхищался Мопассаном, Флобером, Толстым, Таманью Лермонтова.

— Вот умрет Толстой, все пойдет к чорту! — повторял он не раз.

— Литература?

— И литература.

**
*

Но тут он ошибался, литература уже начала идти «прахом» и при жизни Толстого.

**
*

К концу марта приехал из Москвы Телешов, а из Одессы прибыл Нилус, который начал писать портрет

Антон Павловича. Чехов был в хорошем настроении, ожидая приезда из Петербурга Ольги Леонардовны.

Я привез «Дети Ванюшина».

— Единственный настоящий драматург, — говорил Чехов.

**
*

Он часто говорил:

— Какие мы драматурги! Единственный, настоящий драматург — Найденов; прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех, что только ахнешь!

И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:

— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня», и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»

**
*

По вечерам иногда собирались к ужину гости: Телешов, Горький, Нилус, после ужина заходил Елпатьевский, и меня упрашивали иногда прочесть тот или другой рассказ Чехова. Об этом вспоминает Телешов: «Антон Павлович сначала хмурился, неловко ему каза-

лось слушать свое же сочинение, потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем кресле, но молча, стараясь сдерживаться».

Прослушав как-то свой «осколочный» рассказ, Антон Павлович сказал:

— Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я пробил дорогу к маленькому рассказу, меня еще как за это ругали...

— Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться...

Всех нас радовало, что Толстой выздоравливал. Словом, настроение было самое хорошее. И вдруг пришла телеграмма, что в Петербурге заболела Ольга Леонардовна.

Ежедневные телеграммы. Пять дней ожидания ее прибытия, и наконец в первый день Пасхи, 10 апреля, ее на руках перенесли с парохода на дачу с температурой 39 градусов подмышкой.

Конечно, Нилусу пришлось бросить портрет, и скоро мы все разъехались.

**
*

В письме от 4 мая Антон Павлович сообщает мне, что жена поправляется и что после 20 мая они приедут в Москву.

В Москве же под Троицу — новая болезнь Ольги Леонардовны, осложнившаяся перетонитом, которая чуть не кончилась операцией. Чехов измучился и душевно, и физически. Чтобы отдохнуть, 17 июня он с С. Т. Морозовым отправляется в его имение на Урал до 5 июля, а Ольга Леонардовна осталась с матерью.



Очень интересный разговор произошел в имении Морозова между Чеховым и Серебровым (Тихоновым). Тихонов был в то время студентом Горного института и работал, как тогда говорилось, на практике.

У меня бывало чувство, что, когда я передавал некоторые мнения и суждения Чехова, то многие думали, что я приписываю ему свое, поэтому мне было очень приятно прочесть воспоминания Сереброва, которые подтверждают то, что и мне много раз высказывал Антон Павлович. На Урале он, вероятно, был слишком откровенен потому, что это было перед сильным горловым кровотечением.

«Вечером Чехов пригласил меня пить чай на террасу... — рассказывает Серебров. — Речь зашла о Горьком. Тема была легкая. Я знал, что Чехов любит и ценит Горького, и не поскупился на похвалы автору «Буревестника».

— Извините... Я не понимаю... — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. — Вот вам всем нравится его «Буревестник» и «Песнь о соколе»... Знаю, вы мне скажете — политика! Но какая же это политика? «Вперед без страха и сомненья!» — это еще не политика. А куда вперед — неизвестно?! Если ты зовешь вперед, надо указать цель, дорогу, средства. Одним «безумством храбрых» в политике ничего еще не делалось.

От изумления я обжегся глотком чая.

— «Море смеялось», — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенснэ. — Вы, конечно, в восторге!.. Вот вы прочитали «море смеялось», остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились потому, что сразу не поняли, как это так: море — и вдруг

смеется?.. Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... птички поют... Никто не рыдает и не смеется. А ведь это и есть самое главное — простота...

— Вот вы ссылаетесь на «Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен... И все персонажи говорят одинаково на «о»... Романы умели писать только дворяне. Нашему брату — мещанам, разнолюду — роман уже не под силу... Вот скворешники строить, на это мы горазды. Недавно я видел один такой: трехэтажный, двенадцать окошечек!.. Чтобы строить роман, необходимо хорошо знать закон симметрии и равновесия масс. Роман — это целый дворец, и надо, чтобы читатель чувствовал себя в нем свободно, не удивлялся бы и не скучал, как в музее. Иногда надо дать читателю отдохнуть и от героя, и от автора. Для этого годится пейзаж, что-нибудь смешное, новая завязка, новые лица... Сколько раз я говорил об этом Горькому, не слушает... Гордый он — а не Горький.

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыгаться на «Художественном театре».

— Ничего — театр, как театр, — опять погасил мои восторги Чехов. — А Москвин — даже талантливый. В других театрах и этого нет. Я помню, в Александринском театре ставили мою «Чайку». Под суфлера! Боже мой, что только они там говорили!..

Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал новым течением в литературе.

— Никаких декадентов нет и не было, — безжалостно доканал меня Чехов. — Откуда вы их взяли?.. Во Франции Мопассан, а у нас — я стал писать маленькие рассказы, вот и все новое направление в ли-

тературе... Жулики они, а не декаденты! Гнилым товаром торгуют... мистика и всякая чертовщина! Это все они нарочно выдумали. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не бледные, а такие же волосатые, как у всех...

— Ну какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, который ужасно любит говорить...

— Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями.

**
*

— До чего мы ленивый народ. Даже природу заразили ленью. Вы поглядите только на эту речку, до чего же ей лень двигаться! Вон она какие колена загибает, а все от лени. И вся наша пресловутая «психология», вся эта достоевщина тоже ведь от этого. Лень работать, ну вот и выдумывают.

**
*

Опять за чаем на террасе:

— Вот меня часто упрекают, даже Толстой упрекал, что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или, хотя бы как у Лескова, просто честных исправников... А где их взять?

— Жизнь у нас провинциальная, города немощные, деревни бедные, народ поношенный... все мы в молодости восторженно чирикаем, а к сорока годам — уже старики и начинаем думать о смерти... Какие мы герои!

— Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один... А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел другое... Я хотел только честно сказать людям: «Посмотрите на себя, посмотрите, как вы плохо и скучно живете!..» Самое главное, чтобы это люди поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую лучшую жизнь... Я ее не увижу, но я знаю, она будет совсем иная, не похожая на ту, что есть... А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям: «Поймите же, как вы плохо и скучно живете!» Над чем же тут плакать? — И, вставая со стула, dokonчил: — Пойдемте спать... Гроза будет...»

А во время грозы у него потекла горлом кровь.

**
*

По возвращении они с Ольгой Леонардовной поселились в Любимовке по Ярославской железной дороге, в усадьбе матери Станиславского, Е. И. Алексеевой. (Она предоставила им флигель.) Любимовка лежала на Клязьме, где Чехов удил рыбу. Прожили они вместе до середины июля, затем он один уехал в Ялту. Вероятно, за время болезни у Ольги Леонардовны расстроились нервы, она скучала и в письмах к мужу стала его упрекать, что он не взял ее с собой, упрекала и его родных.

Он отвечает: ...«Ты сердита на меня, а за что — никак не пойму. За то, что я уехал от тебя? Но ведь я с тобой прожил с самой Пасхи... и не уехал бы, если бы не дела и кровохарканье».

**
*

От 11 сентября я получил от него коротенькое письмо: упрек, что я не послал ему своих «Новых стихотворений», которые были изданы А. А. Карзинкиным — большим любителем поэзии и моим другом — в старинном стиле.

**
*

В середине октября 1902 года Чехов приехал в Москву и чуть ли не в первый день написал записочку Найденову, прося его известить меня, что он здесь.

Конечно, на следующий день я был у него. В письме от 18 октября он пишет Куприну, что виделся «с Буниным и что тот в меланхолическом настроении, собирается за границу».

А 26 октября я получил от него открытку: «Милый Жан! Укрой свои бледные ноги!» без подписи.

**
*

Из Москвы Антон Павлович уехал в конце ноября. В Ялте в это время выпал снег...

В письме от 20 декабря он пишет жене: «Думал о том, что тебе нужен сынишка, который занимал бы тебя, наполнял бы твою жизнь. Сынишка или дочка будет у тебя, родная, поверь мне, нужно только подождать, придти после болезни в норму. Я не лгу тебе, не скрываю ни одной капли из того, что говорят доктора, честное слово».

Я же в это время жил еще в Москве, бывал за просто у Ольги Леонардовны и иногда заставлял ее в слезах, — ей было тяжело, хотя она и не жаловалась.

**
*

В письме от 27 декабря Чехов сообщает ей из Ялты: «Ждем Бунина и Найденова, которые, по газетным известиям, уехали в Константинополь»... Последнее было вранье.

В письме от 1 января 1903 года Антон Павлович извещает жену, что «Бунин и Найденов теперь в Одессе. Их там на руках носят». (Мы жили в это время с Найденовым в «Крымской гостинице»).

Гославскому же пишет: «На днях в Ялте будет Бунин» (из Одессы я собирался поехать в Крым). «Я поговорю с ним и, если он посвятит меня в тайны «Знания», то я тотчас же напишу Горькому или Пятницкому, не медля...»

13 января в день отъезда Марьи Павловны он почувствовал себя плохо. ... А в Ялте был туман, погода как раз для туберкулезного.

5 февраля Шаповалов привез Чехову от Станиславского «орден» «Чайки» (такой же самый я получил от Художественного театра вместе с адресом на свой двадцатипятилетний юбилей. Его у меня украли вместе со всеми ценными вещами во время нашего пребывания в Софии в 1920 г., после бегства из Одессы).

16 февраля он в письме к жене удивляется: «Бунин почему-то в Новочеркасске?» А я там был у матери, жившей тогда у моей сестры Марьи Алексеевны Ласкаржевской.

Из Новочеркасска я отправился в Ялту.

Вот в этот-то приезд, Чехов шутя приставал ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях. Я иногда отбрехивался, что это он будет писать обо мне, но он уверял, что я проживу до ста лет, что я «здоровенный» мужчина, и все в таком роде. Наконец я сказал:

— Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто пятом году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. И вот, сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском, пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно: «Позвольте, господин, я сам найду...» «Как, негодяй? Значит я чужое пальто беру?» — «Так точно, чужое-с». — «Молчать, негодяй, это мое пальто!» — «Да нет же, господин, это не ваше пальто!» — «Тогда говори сию же минуту, чье?» — «Антон Павлович Чехова». — «Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!» — «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». — «Так, значит, он здесь?» — «Всегда у нас останавливаются...» И вот мы чуть не кинулись к вам знакомиться в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали — видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьего царства».

— Кто этот поэт, догадываюсь, Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?

— Простите, дорогой, не удержались.

— А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо — закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.

**
**

Да это правда, рестораны он любил. Всех друзей звал всегда или пообедать, или поужинать. И ему

доставляло удовольствие их угощать. Нравилось ему мое понимание в винах, любовь к закускам и к тонким блюдам, это ценила во мне и Евгения Яковлевна, которая была большая мастерица в кулинарном искусстве и тоже очень любила угощать.

Ни с одним писателем я не был в таких отношениях: мог часами, сидя вместе в кабинете, молчать, а с Чеховым мы иногда проводили так целые утра.

Иногда мне казалось, что все-таки я мешаю ему, и вечером при прощании, выдумывал, что мне утром нужно куда-то, в этом случае он трогательно настойчиво начинал приглашать и шутя говорил: если вам не скучно со старым писателем...

В этот приезд я уже останавливался в лучшей гостинице в Ялте, в «России». И он туда как-то вечером позвонил и сказал, чтобы я нанял извозчика и приехал за ним, чтобы ехать кататься. Я стал отговаривать, но он настоял. Правда, ночь была теплая, лунная. И мы поехали в Орианду. Вот тут-то он и сказал, что его будут читать еще только семь лет, а жить ему осталось еще меньше — всего шесть. В обоих случаях ошибся: жить ему осталось меньше — всего год и три месяца, а читают его уже больше пятидесяти лет, и, вероятно, будут читать еще долго.

Из Крыма я поехал в Москву, заглянув ненадолго к брату, в деревню, а в мае бывал у Чеховых на Петровке и удивлялся, как они могли так высоко снять квартиру, на третьем, то есть по-заграничному на четвертом этаже, у него уже была отдышка, ему очень тяжело было подыматься.

В этот приезд он показался профессору Остроумову, который увидел, что его левое легкое в исключительно плохом состоянии и, сказав, что он «калека», запретил ему жить зимою в Ялте, запретил и поездку в Швейцарию, где он с Ольгой Леонардовной хотели провести лето.

А на лето они поселились в имении Якунчиковой в Наро-Фоминском.

Недель шесть они прожили там. Антон Павлович удил рыбу, купался, — это Остроумов ему разрешил, но Чехов томился окружающей бездельной жизнью, высокопоставленными гостями, и, не выдержав, в десятых числах июля вернулся в Ялту, нарушив приказание Остроумова.

Он работал над своей последней пьесой «Вишневым садом».

В письме к жене от 29 сентября он пишет между прочим: ...«скажи Бунину, чтобы он у меня полечился, если нездоров; я его вылечу».

Здоровье Чехова, как всегда в Ялте, особенно с наступлением холодных дней ухудшилось.

**

В начале декабря Антон Павлович приехал в Москву. Я тоже был там, — мы с Найденовым готовились к поездке за границу. Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырёх часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой.

Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:

— Не скучай без меня, Дусик, впрочем с Букишончиком тебе всегда хорошо... До свиданья, милый, — обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги.

Он иногда мыл себе голову. Я старался развлекать его, рассказывал о себе, расспрашивал о семье. Он много говорил о своих братьях, Николае, Александре, которого он ставил очень высоко и бесконечно жалел, так как он иногда запивал, — этим он объяснял, что из него ничего не вышло, а одарен он был щедро.

Александр Павлович был человек редко образованный: окончил два факультета — естественный и математический, много знал и по медицине. Хорошо разбирался в философских системах. Знал много языков. Но ни на чем не мог остановиться. А как он писал письма! Прямо на удивление. Был способен и на ручные работы, сам сделал стенные часы. Одно время был редактором пожарного журнала. Над его кроватью висел пожарный звонок, чтобы он мог всегда знать, где горит. Он был из чудаков, писал только куриными перьями. Любил разводить птицу и сооружал удивительные курятники, словом, человек на редкость умный, оригинальный. Хорошо понимал шутку, но последнее время стал тяжел: когда был трезв, то мучился тем, каким он был во хмелю, а под хмелем действительно был тяжел.

Я спросил Антона Павловича:

— А не мучается ли он, что вы заслонили его, как писателя?

Он улыбнулся своей милой улыбкой и ответил:

— Нисколько, ведь и пишет он между делом, так чтобы лишнее заработать. Да я и не знаю, что его больше интересует: литература, философия, наука или куроводство? Он слишком одарен во многих отношениях, чтобы отдаться чему-нибудь одному... Вот и брат Михаил служил в финансовом ведомстве, бросил, работает по книжному делу у Суворина. Пишет рассказы, но никаких усилий не делает, чтобы стать настоящим писателем. У нас ведь нет такого честолю-

бия, как у многих писателей нынешних. У нас, у всех есть любовь к тому делу, над каким мы трудимся.

**
*

Расспрашивал Антон Павлович меня и о первом представлении пьесы Горького «На дне» и об ужине, который стоил 800 рублей и что за такую цену подавали?

Я, изображая Горького, говорил:

— Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой, чорт ее дери совсем, чтобы не рыба была, а лошадь.

Чехов очень смеялся, а особенно замечанию профессора Ключевского, который был беспечно-спокоен, мирно-весел, чистенький, аккуратный, в застегнутом сюртучке, слегка склонив голову на бок и искоса, поблескивая очками и своим лукавым оком, мы стояли рядом, и он тихо сказал:

— Лошадь! — Это, конечно, по величине приятно. Но немножко и обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?

**
*

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:

— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.

Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

— Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это...

**
*

Последнее время часто мечтал вслух:

— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...

**
*

Его «Архиерей» прошел незамеченным — не то что «Вишневый сад» с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Мужиков», Художественного театра!

**
*

Мы с Найденовым уже были в конце декабря на отлете. Чехов рассказывал мне о своем пребывании в Ницце, о М. М. Ковалевском, о консуле Юрасове, давал советы относительно здоровья и, как всегда, уверял, что я проживу до глубокой старости, так как я «здоровенный мужчина» и опять в который раз уго-

варивал писать ежедневно, бросить «диллетантство», а нужно относиться к писанию «профессионально»...

И не думал я в те дни, что они — наше последнее свидание.

Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнувшая вином и духами...

— Что же ты не спишь, Дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще Букишончик, ну, конечно, он с вами не скучал! Я быстро вставал и прощался.

**
*

Перед Рождеством мы с Найденовым уехали за границу.

В Ниццу Чехов прислал мне поздравление с Новым годом, но тон письма был невеселый, он сообщал, что его пьеса еще не шла, и неизвестно, когда пойдет, а письмо помечено 8 января. В письме чувствуется нежность, забота, спрашивает, что я ем? рекомендует есть цыплят и голубей, сокрушается, что судака Кольбер там нет. Кончает: «целую вас и обнимаю», а после подписи: «А у нас сегодня солонина и индейка!».

**
*

В день его Ангела была премьера «Вишневого сада», театр устроил ему чествование, которое его, конечно, очень утомило. Он не переносил никаких чествований, ненавидел быть центром внимания. Воображаю, сколько пошлостей ему пришлось тогда выслушать.

**
*

Началась Японская война. В письмах она у него не отразилась.

15 февраля он уехал опять в Ялту, нарушая запрет Остроумова.

Перед отъездом был с женой в Царицыне, смотрел дачу, чтобы в будущем году там поселиться на всю зиму.

В Ялте он застал брата Александра с семьей. Его племянник, будущий артист, вспоминает это время. Антон Павлович был с ним нежен, подарил «Каштанку» и «Белолобого», дарил мелкие вещицы со своего стола, когда он тихо сидел в его кабинете.

Александр Павлович все время был «трезв, добр, интересен, вообще утешает меня своим поведением», пишет он своей жене.

**
*

Весной Ольга Леонардовна переменила в Москве квартиру, сняла в Леонтьевском переулке, в доме был лифт.

В эту весну 13 апреля он и написал Амфитеатрову из Ялты о своем рассказе «Чернозем», опубликованном в сборнике «Знания».

3 мая он в Москве.

Сообщает матери «всю дорогу нездоровилось, но в Москве «полегчало».

Рассказывают, что он по приезде в Москву, на другой день, поехал в Сандуновские бани и простудился. В письме к Куприну он сообщает от 5 мая:

«Я приехал в Москву, нездоров!» А 10 мая Гольцеву: ...«нездоров, лежу в постели, каждый день ходит доктор...»

В письме к сестре от 21 мая сообщает, что «третьего дня ни с того ни с сего меня хватил плеврит... Как

бы то ни было на 2 июня заказаны билеты в Шварцвальд...»

Меня всегда мучает вопрос, почему его повезли за границу в таком состоянии. Сам он Телешову сказал: «еду умирать». Значит, понимал свое положение. У меня иногда мелькает мысль, что, может быть, он не хотел, чтобы его семья присутствовала при его смерти, хотел избавить всех своих от тяжелых впечатлений, а потому не возражал. Конечно, порой он надеялся, как большинство чахоточных, что поправится. Замечательно, что сестре он стал из Москвы писать нежнее.

Он и мне в последнем письме, которое не попало в собрание его писем, писал в середине июня, что «чувствую себя недурно, заказал себе белый костюм...»

Четвертого июля 1904 года я поехал верхом в село на почту, взял там газеты и письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула по сердцу.

**
*

Смерть его ускорила простуда. После приезда в Москву из Ялты он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости...

Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») и которого Чехов, за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы, называл так:

— Погребальные дроги стоймя.

IV

Художественный театр отметил пятидесятилетие со дня рождения Антона Павловича литературным утренником, на котором выступал я со своими воспоминаниями. Это было 17 января 1910 года.

Театр был переполнен. В литерной ложе с правой стороны сидели родные Чехова: мать, сестра, Иван Павлович с семьей, вероятно, и другие братья, — не помню.

Мое выступление вызвало настоящий восторг, потому что я, читая наши разговоры с Антон Павловичем, его слова передавал его голосом, его интонациями, что произвело потрясающее впечатление на семью: мать и сестра плакали.

Через несколько дней ко мне приезжали Станиславский с Немировичем и предлагали поступить в их труппу.

Вскоре после этого утренника мы были приглашены к Марье Павловне, где были и Чеховы, живущие в Москве, а среди них и сын Александра Павловича, Михаил, молодой ученик школы Художественного театра, поразивший нас талантливостью жестов: они с сыном Ивана Павловича, студентом Володей, прощаясь в прихожей, что-то манипулировали со шляпами так забавно, что мы из столовой, глядя на них, очень смеялись.

Кто-то сказал:

— Это совершенно по-чеховски! Новое поколение.

А через несколько лет, я видел Мишу в Первой студии художественного театра в пьесе, переделанной из рассказа Диккенса «Сверчок на печи», и его игра меня взволновала до слез.

В 1915 году, 14 декабря видел его второй раз в «Потопе»; играл тоже с большим талантом.

Евгения Яковлевна за пять лет очень состарилась. Мы обрадовались друг другу, как родные. Она всегда меня любила. Стала бранить Ялту, с восторгом вспоминать Московскую губернию:

— Здесь лучше, леса, можно по грибы ходить, их тут много, а там что... одно море...

И до чего она была очаровательна в своей наивности.

**
*

Ездил я и на открытие «Комнаты имени Антона Павловича Чехова» для туберкулезного литератора в санатории по Николаевской дороге, кажется, вблизи станции Крюкова, забыл какого доктора.

Ехал я туда в вагоне с Иваном Павловичем, его женой, милой женщиной, и сыном.

Иван Павлович напоминал покойного брата одним жестом. Он был очень хозяйственный человек, сейчас раскрыл погребец, угостил водочкой и какой-то закуской, и мы незаметно доехали до санатории, где был «пир-горой».

**
*

«Литературное ханжество — самое скверное ханжество», — сказал мне Чехов (писал он об этом и Суворину).

**
*

Отлично писал Горькому: «У вас слишком много определений... понятно, когда я пишу: «Человек сел на траву...» Наоборот, неудобопонятно, если я пишу: «Высокий, узкогрудый среднего роста человек с рыжеватой бородкой сел на зеленую, еще не измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь...»

**
*

Чехов говорил:

«Писателю надо непременно в себе выработать зоркого, неугомонного наблюдателя... Настолько, понимаете, выработать, чтоб это вошло прямо в привычку... сделалось как бы второй натурой».

**
*

У Чехова каждый год менялось лицо.

**
*

Благородство Чехова — цветы, животные, благородство людских поступков.

**
*

Со всеми он был одинаков, какого бы ранга человек ни был.

**
*

Всеволод Гаршин, которого, несмотря на краткое знакомство, он успел полюбить всей душой, весной 1888 года кончает самоубийством.

**
*

Монгольское у матери и у Николая, и у самого Чехова.

Портреты деда, бабки, отца, дяди — мужики. Женщины широкоскулы, рты без губ, — монголки. Дед, бабка, мать, отец, дядя Чехова — все мужики и все широкоскулые. Просто страшно смотреть — особенно проживши больше 30 лет в Европе. Нижняя челюсть дяди. Грубость поразительная. Отец приличнее, но нижняя челюсть почти, как у дяди.

**
*

Ехал из Ельца. Купил на станции «Пестрые рассказы» Чехова в 1887 году, читал, не отрываясь.

**
*

Однажды он сказал (по своему обыкновению, внезапно):

— Знаете, какая раз была история со мной?

И, посмотрев некоторое время в лицо мне через плечо, принялся хохотать:

— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, дер-

жит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: «Да, пойми же ты, что ты теперь первый писатель в России!»... И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он...»

**
*

В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):

— Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую, всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?

Не раз говорил:

— В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница...

— Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости...

— Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была во сто раз умнее и талантливее этой актрисы...

Иногда говорил:

— Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден!

Как он восхищался Давыдовой!

— Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть

пятьдесят рублей авансу». — «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запроу вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ».

А иногда говорил совсем другое:

— Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю...

**
*

Замечательная есть строка в его записной книжке:

— Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу один.

**
*

Про московских «декадентов», как тогда называли их, он однажды сказал:

— Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать...

**
*

Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:

— Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений...

Побледнев, он встал и вышел.

**
*

Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хронике темы для драм и водевилей».

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенснэ и принимался тихо и сладко хохотать.

— Что такое вы прочли?

— Самарский купец Бабкин, — хохоча, отвечал он тонким голосом, — завещал все свое состояние на памятник Гегелю.

— Вы шутите?

— Ей Богу, нет, Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

— Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?

— Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

— Да вы мне в дети годитесь.

— Все равно. В вас народная кровь.

— А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три

года». А потом вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его вылечил. А в воспоминаниях обо мне не пишете, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человек».

— Это про меня писали, — говорил я, — писали, будто я симпатичное дарование.

Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

— Пойдите, а как про вас Короленко написал?

— Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ «сделал бы честь и более крупному таланту».

Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

— Все-таки это лучше, чем про меня писали. Только вот вам мой совет, — вдруг прибавлял он: — перестаньте быть диллетантом, сделайте хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать — из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновения.

Потом, помолчав:

— А Короленке надо жене изменить, обязательно, чтобы начать лучше писать. А то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в «Русском богатстве» какого-то Вербова или Веткова, где описывались «волки реакции», обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и то, как он звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались? Это вы правду рассказывали?

— Честное слово, правду.

— А кстати, вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?

— Вы не любите Добролюбова?

— Нет, люблю. Это же порядочные были люди. Не то, что Скабичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня «искры Божьей нет».

— Вы знаете, — говорил я, — мне Скабичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.

— Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал!

**
*

Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то на именинах моего отца фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть «В овраге».

Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенснэ, мотал ею в воздухе:

— Ровно сто сюжетов! Да-а, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работники! Хотите, парочку продам!

**
*

Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень

устал, идет через силу, — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

— А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!

Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:

— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина!

**
*

Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»

— Ах, что вы, что вы! — воскликнул он. — Это же чудесно — плохо начать! Поймите же, что, если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть не оригинальные, таланта в сущности лишённые, потому что способность равняется умению приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявления себя.

V

Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спеша, без интонации, сказал:

— Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов.

**
*

Теперь он выделился. Но, думается, и до сих пор не понят, как следует: слишком своеобразный, сложный был человек.

**
*

— На одного умного полагается 1000 глупых, на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает. (Из записной книжки Чехова).

Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор «Винта», «Жалобной книги»... Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, — помню, как некоторые из них искренно хохотали надо мной, юнцом, когда я осмеливался сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте: «Нельзя представить себе, говорили они, чтобы Толстой или Тур-

гнев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой».

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторялось его имя на афишах, что запомнились: «22 несчастья», «глубокоуважаемый шкаф», «человека забыли»...

**
*

Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроений», «больным талантом», человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.

Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нежность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человеку»... Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нежность»! Еще более были бы противны ему «теплота», «грусть».

Говоря о нем, даже талантливые люди берут неверный тон. Например, Елпатьевский: «встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям... Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами...»

Что за вздор! Чехова влекли сильные и умные люди, возьмем хотя бы Суворина, ни с кем он не был так откровенен, как с ним, очень любил его общество, никому он так много и откровенно не писал!

Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота» и «задушевность», приписывает ему «печаль о призраках».



В 1948 году я публично читал в Париже мои литературные воспоминания и, оговорившись, что считаю Чехова одним из самых замечательных русских писателей, позволил себе сказать, что не люблю его пьес, что они, по-моему, все очень плохи и что ему не следовало бы писать пьесы из дворянского быта, которого он не знал. Это вызвало во многих негодование против меня, обиды. Е. Д. Кускова написала по поводу этих воспоминаний два больших фельетона в «Новом русском слове». «В Женеве, — писала она, — и старики, и молодые обиделись на Бунина за Чехова, за Бальмонта, за Горького... Этих писателей любят и сейчас, Чеховым зачитываются, хотя, казалось бы, эта старая, унылая Русь с ее нытиками ушла в прошлое...» Вот это было уже подлинное оскорбление Чехова — низводить его до бытописателя «старой, унылой Руси». Вот на Е. Д. Кускову следовало бы оскорбиться весьма основательно, а женевским «старикам» не мешало бы помнить, что Горький называл их, русских интеллигентов, со свойственной ему гадкой грубостью, «чуланом с тухлой провизией». Следовало бы обидеться и на знаменитую артистку Ермолову. Среди ее опубликованных писем есть между прочим такое письмо к ее другу, ялтинскому доктору Середину: «Вы спрашиваете, отчего мне не нравится повесть Чехова «В овраге»? Но потому, что чеховщина есть для меня символ беспросветной тьмы, всевозможных болезней и печали». Зато Горького считала «милой, светлой личностью» и просила Середину: «Вы с Горьким близки, не давайте ему сбиваться с этой светлой нотки, которая так сильно звучит в его произведениях...» Читаешь и глазам своим не веришь! «В овраге» — одно из самых прекрасных во всех отношениях созданий русской литературы, но

для Ермоловой это «чеховщина — символ беспросветной тьмы», зато Горький — «милая светлая личность», у него, написавшего великое множество нарочито грязных, злобных, мрачных вещей, «сильно» звучала, оказывается, «светлая нотка»!

**
*

Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощадным талантом. («Творчество из ничего», Петербург, 1908).

Вот выдержки из нее:

«Молодой Чехов весел, беззаботен и, пожалуй, даже похож на порхающую птичку... но с 1888-1889 годов, когда ему было 28-29 лет, появились две вещи: «Скучная история» и «Иванов».

...«Мы никогда не узнаем, что произошло с Чеховым за то время, которое протекло между окончанием «Степи» (1888 г.) и появлением первой драмы «Иванов» и «Скучной истории».

...«Иванов сравнивает себя с надорвавшимся рабочим».

Шестов думает, что Чехов тоже надорвался и «не от тяжелой большой работы, не великий, непосильный подвиг сломил его, а так пустой незначительный случай сломил его... и нет прежнего Чехова, веселого и радостного, а есть угрюмый, хмурый человек».

**
*

Далее Шестов пишет: ...«у разбитого человека обыкновенно отнимается все, кроме способности сознавать и чувствовать свое положение. Если угодно, мыслительные способности утончаются, обостряются, вырастают до колоссальных размеров...»

«Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно в течение всей почти 25-летней литературной деятельности только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды. В этом, на мой взгляд, сущность его Творчества».

*
*
*

...«то, что делал Чехов, на обыкновенном языке называется преступлением и подлежит суровой каре. Но, как казнить талантливого человека? Даже у Михайловского ... не поднялась рука на Чехова. Он предостерегал читателя, указывая на «недобрые огоньки», но дальше он не шел: огромный талант Чехова подкупил риторически строгого критика».

...«Молодое поколение ценило в Чехове талант, огромный талант, и ясно было, что оно от него не отречется ... и Чехов стал одним из любимейших русских писателей».

Как же могло ценить молодое поколение такого «убивателя»? — спрошу я.

*
*
*

...«посмотрите его за работой, — пишет Шестов. — Он постоянно точно в засаде сидит, высматривает и подстерегает человеческие надежды... Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее, переберите все слова, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. И сам Чехов на наших глазах блекнул, вянул и умирал — не умирало в нем только его удивительное искусство... Более того, в этом искусстве он постоянно совершенствовался и дошел до вир-

туозности, до которой не доходил никто из его соперников в европейской литературе».

...«Чехов был кладокопателем, волхвом, кудесником, заклинателем. Этим объясняется его исключительное пристрастие к смерти, разложению, гниению, к безнадежности».

...«Единственная философия, с которой серьезно считался и потому серьезно боролся Чехов — был позитивистический материализм».

...«настоящий, е д и н с т в е н н ы й герой Чехова — безнадежный человек...»

...«У него нет ничего, он все должен создать сам. И вот «творчество из ничего».

**
*

Бердяев определяет «Творчество из ничего» в своей книге «Самопознание» так:

«В «Смысле творчества», — пишет он, — я уже выразил основную для меня мысль, что творчество есть творчество из ничего, т. е. из свободы. Критики приписывали мне нелепую мысль, что творчество человека не нуждается в материи, в материалах мира. Творческий акт нуждается в материи, он не может обойтись без мировой реальности, он совершается не в пустоте, не в безвоздушном пространстве. Но творческий акт человека не может целиком определяться материалом, который дает мир, в нем есть новизна, не детерминированная извне миром. Это и есть тот элемент свободы, который привходит во всякий подлинный творческий акт. В этом тайна творчества. В этом смысле творчество есть т в о р ч е с т в о и з н и ч е г о. Это лишь значит, что оно не определяется целиком из мира, оно есть также эманация свободы,

не определяемой ничем извне. Без этого творчество было бы лишь перераспределением элементов данного мира и возникновение новизны было бы призрачным.»

**
*

Шестов считает, что в творчестве своем Чехов находился под влиянием Толстого... Без «Ивана Ильича» не было бы и «Скучной истории».

Не знаю...

**
*

«У Толстого, — справедливо пишет Шестов, — тоже не очень ценившего философские системы, нет такого резко выраженного отвращения к идеям, мировоззрениям, как у Чехова...»

...«Под конец он совершенно эмансипируется от всякого рода идей и даже теряет представление о связи жизненных событий. В этом самая значительная и оригинальная черта его творчества».

Шестов считает, что в «Чайке»... «основой действия не логическое развитие страстей, а голый демонстративно ничем не прикрытый случай».

Он даже находит, что «читая драму, кажется, что перед тобой номер газеты с бесконечным рядом “faits divers”, «...во всем и везде царит самодержавный случай, на этот раз дерзко бросающий вызов всем мировоззрениям. В этом наибольшая оригинальность Чехова, источник его мучительнейших переживаний...»

**
*

Шестов думает, что «у Чехова был момент, когда он решил, во что бы то ни стало покинуть занятую им позицию и вернуться назад. Плодом такого решения была «Палата № 6» (1892)».

Одно из самых замечательных произведений Чехова, — замечу я.

**

И далее Шестов пишет: «Чехов хотел уступить и уступил. Он почувствовал невыносимость безнадежности, невозможность творчества и зничего».

Замечательно то, что Шестов первый увидел, что у Чехова «беспощадный талант».

Кой на что я возражу ему.

**

По новому, подошел к Чехову и М. Курдюмов («Сердце смятенное», о творчестве А. П. Чехова, 1934 г.), указавший на религиозность в подсознании Чехова.

«Твердо установилась не только у нас, — пишет Курдюмов, — но и на западе традиция искать ключа к постижению русской стихии исключительно у Достоевского. Достоевский и “âme slave”, для интересующегося сложными русскими вопросами западного человека, — несомненно синонимы».

Чехов в своем творчестве как будто никаких проблем ни для себя, ни для читателя не ставил.

...«Чехова у нас просто не дочитали до конца», — пишет Курдюмов.

**
*

...«О Чехове без преувеличения можно сказать, что он — один из самых свободных художников в русской литературе. А по значению поставленных им вопросов, по его проникновению в глубину русской души с ее мучительными поисками высшего смысла жизни и высшей правды, Чехов превосходит и гениального бытописателя русских типов Гончарова...»

Чехов не любил Гончарова и серьезно раскритиковал Обломова в письме к Суворину, замечу я.

**
*

А вот это сказано удивительно верно:

«Мировоззрение Чехова-человека, близко связывало его с его эпохой, с торжествовавшим тогда рационализмом и позитивизмом. Но он не принял их до конца, не мог на них успокоиться».

...«Чехов и своей личностью, и духовным состоянием своих героев из среды русской интеллигенции уже знаменует кризис русского рационализма, как господствующего направления, еще довольно задолго до того момента, когда этот кризис наступил для значительного большинства уже с несомненной очевидностью. Чехов сумел ощутить его первые трещины. Есть все основания думать, что он носил их в самом себе, но появились они в нем, надо предполагать, со стороны его творческой интуиции... Иногда прорывалась она наружу и в его откровенных беседах».

**
*

Курдюмов правильно пишет:

«И никогда ни в чем он не скрывал того, что ч е л о в е ч е с к а я скорбь ему всегда была несравненно дороже, важнее, интереснее «гражданской скорби».

**
*

И далее тоже верно:

...«И не только нашей молодежи, но и нам самим с е й ч а с трудно представить, до какой степени русский писатель времен Чехова был стеснен и подавлен нашим интеллигентным обществом, которое навязывало ему свои вкусы, оценки, свои злобы дня. И чем талантливее был автор, тем настойчивее все это ему навязывалось, тем решительнее от него требовали, чтобы он эти определенные лозунги провозглашал...»

**
*

«Чехова недооценила его эпоха...»

...«Чехов, внимательно читаемый теперь после кровавой русской катастрофы, не только не кажется изжитым до конца, но становится гораздо ближе, во многом понятнее и неизмеримо значительнее, чем прежде».

**
*

Курдюмов характеризует Чехова, как очень скромного человека, я с этим не согласен. Он знал себе цену, но этого не показывал. Не согласен, что он очень скрытен. А его письма к Суворину? В них он

очень откровенен. Скрытый человек со всеми скрытен. Чехов не болтлив, и он должен был очень любить человека, чтобы говорить ему о своем.

**
*

«В то время как криливо прославленный современник Чехова, Максим Горький, победно восклицал: «человек... это звучит гордо!», Чехов всем своим творчеством как бы говорил: «человек — это звучит трагически. Это звучит страшно и жалостно до слез».

...«для Чехова всегда на первом плане стояла личность, стояла данная индивидуальность, та единственная и неповторимая живая душа, которая по словам Евангелия, стоит дороже целого мира».

**
*

...«Жизнь всякого человека, не утонувшего в пошлом самодовольстве, трагична».

...«достаточно заглянуть в любую душу, чтобы проникнуться острой жалостью к ней».

...«Чтобы чувствовать трагедию, совершенно не нужно создавать трагических героев в духе Шекспира, ибо человеческая жизнь сама по себе уже есть трагедия, и одиночество человеческой души трагично».

Это чувствовал и отец Чехова, Павел Егорович, — заказав себе печатку с девизом: «одинокому везде пустыня»... — добавлю я, — эту печатку Чехов многие годы носил, ею же он и запечатывал письма к Авиловой.

**
*

«Печаль Чехова и его героев — печаль библейского Екклезиаста, — самой печальной книги в мире: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем?»... «не может человек пересказать всего; не насытится око зрением; не наполнится ухо слушанием. Что было, то будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».

**
*

...«Его талант в самом большом и серьезном не вызывал энтузиазма у читателей, потому что Чехов по своему мироощущению оказывался стоящим одиноко в современной толпе».

Курдюмов пишет: «Для Липы и ее матери Прасковьи («В овраге»), для Ольги («Мужики»), для послушника Иеромонаха («Святой ночью»), для старого священника о. Христофора («Степь») и молодого дьякона («Дуэль»), для студента духовной академии («Студент») и других людей религиозного склада нет бессмыслицы в самом как будто бессмысленном, нет ужаса и безвыходности в наиболее ужасном».

«В овраге» — одно из самых замечательных произведений не только Чехова, но во всей всемирной литературе, — говорю я.

**
*

Курдюмов считает «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» лучшими пьесами Чехова. Я не со-

гласен: лучшая «Чайка», единственная. Но все же я неправильно писал о его пьесах. Прав Курдюмов, когда говорит, что «главное невидимо действующее лицо в чеховских пьесах, как и во многих других его произведениях, — беспощадно уходящее время».

**
*

Далее опять правильно:

«Чехов подводит человеческую мысль и человеческое сердце к тоскливой мысли о неразрешимом. Для него проблема неразрешимого гораздо важнее всего остального на свете — важнее «прогресса», «блага человеческого и всех достижений».

**
*

Во второй половине марта 1891 года Чехов с Суворинным были в Венеции и там встретились с Мережковскими.

Вот как З. Н. Гиппиус описывает эту встречу:

«...Мы жили там уже две недели, когда раз Мережковский, увидев в цветном сумраке Св. Марка сутулую спину высокого старика в коричневой крылатке, сказал:

«— А ведь это Суворин! Другой, что с ним — Чехов. Он нас познакомит с Суворинным. Буренину я бы не подал руки, а Суворин, хоть и того же поля ягода, но на вкус иная. Любопытный человек, во всяком случае.

«Чехова мы оба считали самым талантливым из молодых беллетристов. Мережковский даже недавно написал о нем статью в «Сев. вестнике». И, однако,

меня Чехов мало интересовал... писанья Чехова казались мне какими-то жидкими.

«...Чехов, мне, по крайней мере, — казался без лет».

«...и при каждой встрече — он был тот же, не старше и не моложе чем тогда, в Венеции. Впечатление упорное, яркое; оно потом очень помогло мне разобраться в Чехове как человеку и художнике. В нем много черт любопытных, исключительно своеобразных. Но они так тонки, так незаметно уходят в глубину его существа, что схватить и понять нет возможности, если не понять основы его существа.

«Эта основа — статичность.

«В Чехове был гений неподвижности. Не мертвого окостенения: нет, он был живой человек и даже редко одаренный. Только все дары ему были отпущены сразу. И один, если это дар, был дар не двигаться во времени».

О, Господи! — до чего можно дописаться!

**
*

«Всякая личность (в философском понятии), — пишет Гиппиус, — ограниченность. Но у личности в движении — границы волнующиеся, зыбкие, упругие и растяжимые. У Чехова они тверды, раз на всегда определены. Что внутри есть — то есть; чего нет — того и не будет. Ко всякому движению он относится как к чему-то внешнему и лишь как внешнее его понимает. Для иного понимания надо иметь движение внутри. Да и все внешнее надо уметь впускать в свой круг и связывать в узлы. Чехов не знал узлов. И был таким, каким был — сразу. Не возрастая — естественно был он чужд «возрасту». Родился соро-

калетним (? И. Б.) и умер сорокалетним, как бы в собственном зените».

**
*

Гиппиус далее уверяет, что С. Андреевский сказал про Чехова:

«Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента».

И Гиппиус с радостью подхватила: «да именно — момента». Времени у Чехова нет, а «момент» очень есть.

Боже, до чего некоторые люди лишены непосредственного чувства жизни!

Это Чехов родился сорокалетним! Это у Чехова не было возраста?

Чехов гимназист, Чехов студент и сотрудник юмористических журналов, Чехов врач во второй половине восьмидесятых годов, Чехов в первой половине девяностых годов, в год Сахалина, и затем во второй и наконец в начале двадцатого века, да это шесть разных Чеховых!!

Взять хотя бы его портреты.

**
*

И каким он был тонким поэтом!

...«В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о

вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело море внизу и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве и полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на расвете казалась такой красивой, успокоенной и очарованной в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, — Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек, — должно быть, сторож, — посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве, — сказала Анна Сергеевна, после молчания,

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город».

1899. («Дама с собачкой»).

**
*

«...Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом

далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлее чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, непохожий ни на что другое — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядающих цветов вместе с осенним запахом листьев веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы, и он вообразил..., что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние».

1893-5 («Ионыч»).

**
*

«В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, должно быть за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось плакать».

1903. («Невеста»).

**
*

И как Гиппиус ошиблась: у Чехова не только был «момент», но есть и «время». До сих пор его читают и перечитывают, как настоящего поэта.

**
*

Далее она пишет: «слово «нормальный» — точно для Чехова придумано. У него и наружность «нормальная», по нем, по моменту нормальная. Нормальный, провинциальный доктор, с нормальной степенью образования, соответственно жил, соответственно любил, соответственно прекрасному дару своему — писал. Имел тонкую наблюдательность в своем пределе — и грубоватые манеры, что тоже было нормально».

Грубоватых манер я у Чехова никогда не наблюдал, впрочем, я в ту пору с ним не был знаком, знает, и в этом отношении он изменился.

**
*

«Даже болезнь его была какая-то «нормальная», — пишет Гиппиус, — и никто себе не представит, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке «священной» эпилепсии, опрокинув дорогую вазу». «Или — как Гоголь постился бы десять дней, сжег «Чайку», «Вишневый сад», «Трех сестер», и лишь потом умер».

Но ведь не один Чехов не сжигал своих произведений, Пушкин тоже не сжигал, да и другие писатели

вплоть до Гиппиус не сжигали, и винить Чехова за то, что у него не было эпилепсии, психической болезни, более чем странно, говоря мягко.

**
*

Разве при его состоянии здоровья нормально было предпринимать путешествие на Сахалин? Разве нормально было так легкомысленно относиться к своему кровохарканью, как он относился с 1884 года, а в 1897 году, несмотря на болезнь, поехал в Москву, чтобы повидаться с Л. А. Авиловой?..

Гиппиус уверяет, что Чехов «нормально» ухаживал за женщиной, если она ему нравится.

Гиппиус находит, что и женитьба его была нормальной. А я нахожу, что это было медленным самоубийством: жизнь с женой при его болезни — частые разлуки, вечное волнение уже за двоих, — Ольга Леонардовна была два раза при смерти в течение 3-х лет брачной жизни, — а его вечное стремление куда-то ехать при его болезни. Даже во время Японской войны на Дальний Восток и не корреспондентом, а врачом!

**
*

Далее:

«Чехов уже по одной цельности своей, — человек замечательный. Он, конечно, близок и нужен душам, тяготеющим к «норме», и к статике, но бесшлюсным».

Гиппиус выражает недоумение: «Впрочем, — не знаю, где теперь эти души: жизнь, движение, события

все перевернули, и, Бог знает, что сделали с понятием «нормы»...

Я уже отмечал, что несмотря на то, что, по мнению Гиппиус, Чехов был человек «момента», его читают не только «души, тяготеющие к норме», его читают всякие души, положительно весь мир. Она совершенно не поняла Чехова не только, как писателя, а и как человека, ей казалось, что Чехову Италия совсем не понравилась, — не буду на этом останавливаться, так как об этом он очень много писал своим родным и друзьям. Видимо, он нарочно при Мережковских был сдержан, говорил пустяки, его раздражали восторги их, особенно «мадам Мережковской», которая ему, видимо, не нравилась, и она не простила ему его равнодушия не к Италии, а к себе.

И гораздо меньше изменялись на своем пути литературном, и жизненном Мережковские, чем Чехов, это у них не было «возраста», это они родились почти такими же, как и умерли!

**
*

Станиславский да и другие актеры, вспоминая Чехова, приписывают ему злоупотребление частицей «же», я же, вам же, сказал же и т. д. Я этого никогда не замечал за ним; если Чехов и употреблял «же», то в меру.

Читая воспоминания о нем Лазарева-Грузинского, я наткнулся, к своему удовольствию, на следующие строки:

«С легкой руки артистов Художественного театра, по многим воспоминаниям Чехов заговорил удивительным языком, каким он никогда не говорил в действительности: я же... вы же... и т. д.»

**
*

Такого, как Чехов, писателя еще никогда не было!

Поездка на Сахалин, книга о нем, работа во время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ, устройство таганрогской библиотеки, заботы о постройке памятника Петру в родном городе — и все это в течение семи лет при развивающейся смертельной болезни!

А его упрекали в беспринципности! Ибо он не принадлежал ни к какой партии и превыше всего ставил творческую свободу, что ему не прощалось, не прощалось долго.

VI

— Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? — Думаю, что нет.

«Любовь, — писал он в своей записной книжке, — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь».

(Примечание В. Н. Буниной: Эти строки напечатаны Иваном Алексеевичем в десятом томе полного собрания сочинений, изданных «Петрополисом» в 1935 году. В 1953 году Иван Алексеевич в том же томе, на странице 237, красным карандашом, отметив слова «Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет», на нижнем поле страницы твердым почерком написал:

«Нет, была. К Авиловой»).

**
*

Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием.

Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой.

Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось.

Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними.

**
*

А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства.

Так думал когда-то и я.

Теперь же я твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии Алексеевне Авиловой.

**
*

Чувствую, что некоторые спросят: а можно ли всецело доверять ее воспоминаниям?

Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она не скрыла даже тех отрицательных замечаний, которые делал Чехов по поводу ее писаний, как и замечаний о ней самой. Редкая женщина!

**
*

А сколько лет она молчала. Ни одним словом не намекнула при жизни (ведь я с ней встречался) о своей любви.

Ее воспоминания напечатаны через десять лет после ее смерти.

**
*

Прочел я и предисловие к этому сборнику какого-то Котова и удивился его тупости. Он пишет:

...«При всем этом нельзя не отметить чрезмерную субъективность и односторонность автора (Авиловой! И. Б.) в освещении материала, связанного с Чеховым. Едва ли можно считать вполне достоверным, что свои отношения к Авиловой Чехов выразил в рассказе «О любви». В действительности же в отношении Чехова Авиловой главным образом проявляется его интерес к ней, как к писательнице, которая могла бы выступить с темой, весьма волнующей, — о зависимости положения женщины, о ненормальности устройства семьи...»

(Примечание В. Н. Буниной: Эти строки в статье Котова Иван Алексеевич отметил двумя восклицательными знаками, нотабеной, подчеркнул синим и красным карандашом возмущившие его особенно места, а на полях синим карандашом написал:

«Какой замечательный писал это!»).

**
*

В ней все было очаровательно: голос, некоторая застенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз...

И как хороша была она в трауре, по ее рано умершему развязному мужу, всегда с противной насмешливостью относившемуся к ее литературным писаниям.

— Ну, мать, пора в постель, довольно твоего «творчества»!

И она очень смущалась этим «творчеством», — как, например, чудесно рассказывала о своем первом посещении «Вестника Европы»...

Для меня целовать ее нежную благородную руку было всегда истинно счастьем.

А вся жизнь ее поистине глубокой любви к Чехову, трагической даже и по... (набросок Ивана Алексеевича не закончен. В. Б.).

**
*

Авилова (в девичестве Страхова, родная сестра толстовца), была как раз одна из тех, что так любил Чехов, употреблявший для них слово мне всегда неприятное: «Роскошная женщина». Таких обычно называют: «русскими красавицами», «кровь с молоком» (выражение для меня несносное, ибо что может быть хуже этой смеси — «кровь и молоко»?) И когда говорят так: «русская красавица» — чаще всего относят таких женщин к купеческой красоте. Но у Авиловой не было ничего купеческого: был высокий рост, прекрасная женственность, сложение, прекрасная русая коса, но все прочее никак не купеческое, а породистое, барское. Я знал ее еще в молодости (хотя уже и тогда было у нее трое детей) и всегда восхищался ею (при всей моей склонности к другому типу: смуглому, худому, азиатскому).

**
*

Я любил с ней разговаривать, как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения ее были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всем этом она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела...

Например, с непередаваемым юмором необыкновенно весело рассказывала она о своем первом посещении редакции толстого журнала «Вестник Европы»:

«Наконец после долгих колебаний я собралась с духом и понесла свой рассказ редактору Стасюлевичу. И как на грех дверь открывает мне он сам. Я так оробела, что начала, не поздоровавшись, бормотать: «Вот... я... я Матвей... Стасюлей Матвееви... Михаил Стясюлевич... Я потому... хочу предложить вам себя...» Тут я уже так запуталась, что, не отдав рукописи, выскочила, как угорелая на улицу... Он, вероятно, принял меня за сумасшедшую...»

**

Первая встреча Авиловой с Чеховым произошла 24 января 1889 года.

...«Я получила записочку от сестры, — пишет Лидия Алексеевна, — «Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Сестра была замужем за редактором-издателем очень распространенной газеты «Петербургская газета». Она была много старше меня. Маленькая, белокуренькая, с большими мечтательными глазами и крошечными ручками, она всегда возбуждала во мне чувство нежности и зависти. Рядом с ней я казалась самой себе слишком румяной, высокой и полной... Кроме того, я была москвичкой и только второй год жила в Петербурге. У нее бывали многие знаменитости: артисты, художники, певцы, поэты, писатели. Я была замужем за только что окончившим студентом, занимавшим теперь должность младшего делопроизводителя департамента народного просвещения. Что было в моем прошлом? Одни несбывшиеся мечты...

Была мечта — сделаться писательницей. Я писала стихами и прозой с самого детства. Я ничего в жизни так не любила, как писать. Художественное слово было для меня силой, волшебством, и я много читала, а среди моих любимых авторов далеко не последнее место занимал Чехонте. Он печатался, между прочим, и в газете, издаваемой моим зятем, и каждый его рассказ возбуждал мой восторг. Как я плакала над Ионой, который делился своим горем со своей клячей, потому что никто больше не хотел слушать его. А у него умер сын. Только один сын у него и был и умер. И никому это не было интересно. Почему же теперь, когда Чехов это написал, всем стало интересно, и все читали и многие плакали?

«Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Я сама кормила своего сынишку Левушку, которому было уже девять месяцев, но весь вечер я могла быть свободна, так как после купанья он долго и спокойно спал, да и няня у меня была надежная.

Миша (муж) был занят, да его и не интересовало знакомство с Чеховым, и я ушла одна.

**

— А, девица Флора, — громко сказал Сергей Николаевич, мой зять. — Позвольте, Антон Павлович, представить вам девицу Флору. Моя воспитанница.

Чехов быстро сделал ко мне несколько шагов и с ласковой улыбкой удержал мою руку в своей. Мы глядели друг на друга, и мне казалось, что он был чем-то удивлен. Вероятно, именем Флоры. Меня Сергей Николаевич так называл за яркий цвет лица, за обилие волос, которые я иногда заплетала в две длинные, толстые косы.

— Знает наизусть ваши рассказы, — продолжал Сергей Николаевич, — и, наверное, писала вам письма, но скрывает, не признается.

Я заметила, что глаза у Чехова точно с прищипочкой, а крахмальный воротник хомутом и галстук некрасивый.

Когда я села, он опять стал ходить и продолжать свой рассказ. Я поняла, что он приехал ставить свою пьесу «Иванов», но что он очень недоволен артистами, не узнает своих героев и предчувствует, что пьеса провалится. Он признался, что настолько волнуется и огорчается, что у него показывается горлом кровь.

Вошла сестра Надя и позвала всех к ужину. Сергей Николаевич поднялся, и вслед за ним встали и все гости. Перешли в столовую. Там были накрыты два стола: один, длинный, для ужина, а другой был уставлен бутылками и закусками. Я встала в стороне у стены. Антон Павлович с тарелочкой в руке подошел ко мне и взял одну из моих кос.

— Я таких еще никогда не видал, — сказал он. А я подумала, что он обращается со мной так фамильярно только потому, что я какая-то Флора, воспитанница. Вот если бы он знал Мишу и знал бы, что у меня почти годовалый сын, тогда...

За столом мы сели рядом.

— Она тоже пописывает, — снисходительно сообщил Чехову Сергей Николаевич.

Чехов повернулся ко мне и улыбнулся.

— Вы будете на первом представлении «Иванова»? — спросил он.

— Вряд ли. Трудно будет достать билет.

— Я вам пришлю, — быстро сказал он. — Вы здесь живете? У Сергея Николаевича?

Я засмеялась.

— Наконец я могу сказать вам, что я не девица Флора и не воспитанница Сергея Николаевича. Это он так зовет меня в шутку. Я сестра Надежды Алексеевны, и, вообразите, замужем и мать семейства. И так как я кормлю, я должна спешить домой.

Сергей Николаевич услышал, что я сказала, и закричал мне:

— Девица Флора, придут за тобой, если нужно. Мы живем в двух шагах, — объяснил он Антону Павловичу. — Сиди. Спит твой пискун. Антон Павлович, не пускайте ее.

Антон Павлович нагнулся и заглянул мне в глаза. Он сказал:

— У вас сын? Да? Как это хорошо.

Как трудно иногда объяснить и даже уловить случившееся. Да в сущности ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг другу. Но как это было много. У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные.

— Я опять сюда приду, — сказал Антон Павлович. — Мы встретимся. Дайте мне все, что вы написали или напечатали. Я все прочту очень внимательно. Согласны?

**
*

Когда я вернулась домой, Левушку уже пеленала няня, и он кряхтел и морщился, собираясь покричать.

Миша вошел в детскую следом за мной.

— Взгляни на себя в зеркало, — сердито сказал он. — Раскраснелась, растрепалась. И что за манера носить косы. Хотела поразить своего Чехова. Левушка плачет, а она, мать, с беллетристами кокетничает.

Слово «беллетрист» было у Миши синонимом пустобреха. Я это знала.

— Чехов — беллетрист? — сухо спросила я.

И я почувствовала, как я потухала. Чувствовала, как безотчетная радость, так празднично осветившая весь мир, смиренно складывала крылья... Кончено. Все попрежнему. Почему жизнь должна быть легка и прекрасна? Кто это обещал?».

**
*

В этом году Чехов откровенно пишет о своей работе и одинокой жизни Суворину (4-го мая 1889 года из г. Сумы) так:

«...Если же из моей работы не выходит по две повести в месяц, или 10 тысяч годового дохода, то виновата не лень, а мои психо-органические свойства: для медицины я недостаточно люблю деньги, а для литературы во мне не хватает страсти и, стало быть, таланта. Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска, оттого-то не случается, чтобы я за одну ночь написал бы сразу листа три-четыре или, увлекшись работой, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать, не совершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, ни заметных умностей. Я боюсь, что в этом отношении я очень похож на Гончарова, которого я не люблю и который выше меня талантом на десять голов. Страсти мало и прибавьте к этому и такого рода психопатию: ни с того, ни с сего, вот уже

два года, я разлюбил видеть свои произведения в печати, оравнодушел к рецензиям, к разговорам о литературе, к сплетням, к успехам, неудачам, к большому гонорару — одним словом, стал дурак дураком. В душе какой-то застой. Объясняю это застоєм в своей личной жизни».

**
*

Прошло три года после встречи Авиловой с Чеховым.

— Я часто вспоминала о нем, — пишет Лидия Алексеевна, — и всегда с легкой мечтательной грустью. У меня уже было трое детей: Лева, Лодя и грудная Ниночка.

**
*

В январе 1892 году Худяков праздновал двадцатилетний юбилей своей газеты.

— Торжество должно было начаться молебном, — пишет Авилова, — а затем приглашенные должны были перейти в гостиную, где был накрыт длиннейший стол для обеда. В столовой гости не поместились бы, и поэтому там все было приготовлено для церковной службы.

Из гостиной в столовую проходили вдоль балюстрады лестницы из передней. А против лестницы было вделано в стену громадное зеркало. Я встала у дверей гостиной и могла, не отражаясь сама в зеркале, видеть в нем всех, кто поднимался, до того, как они показывались на площадке. Шли мужчины и женщины, много знакомых, много незнакомых.

...И вдруг я увидела в зеркале две поднимающиеся фигуры. Я как сейчас вижу непривлекательную голову Суворина, а рядом молодое, милое лицо Чехова. Он поднял правую руку и откинул назад прядь волос. Глаза его были чуть прищурены. Они поспели к самому началу молебна. Все столпились в столовой, слышалось пение, тогда я тоже вмешалась в толпу. И, пока служили и пели, я вспоминала мою первую встречу с Антоном Павловичем, то необъяснимое и нереальное, что вдруг сблизило нас, и старалась угадать, узнает ли он меня? Вспомнит ли? Возникнет ли опять между нами та близость, которая три года назад вдруг осветила мою душу?

Мы столкнулись в толпе случайно и сейчас же радостно протянули друг другу руки.

— Я не ожидала вас видеть, — сказала я.

— А я ожидал, — ответил он, — И знаете что? Мы опять сядем рядом, как тогда. Согласны?

Мы вместе прошли в гостиную.

— Давайте выберем место?

— Бесплезно, — ответила я. — Вас посадят по чину, к сонму светил, одним словом поближе к юбилею.

— А как было бы хорошо здесь — в уголке, у окна. Вы не находите?

— Хорошо, но не позволят.

— А я упрюсь, — смеясь сказал Чехов. — Не поддамся.

Мы сели, смеясь и подбадривая друг друга к борьбе.

— А где же Антон Павлович? — раздался громкий вопрос Сергея Николаевича. — Антон Павлович! Позвольте вас просить...

Надя тоже искала глазами и звала.

Чехов приподнялся и молча провел рукой по волосам.

— Ах, вот они где. Но и вашей даме здесь место рядом с вами. Прошу.

— Да пусть, как хотят, — неожиданно сказала Надя. — Если им там больше нравится...

Сергей Николаевич засмеялся, и нас оставили в покое.

— Видите, как хорошо, — сказал Антон Павлович, — не кажется ли вам, что когда мы встретились с вами три года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки.

— Да... — нерешительно ответила я.

— ...Разлука была долгая. Ведь это было не в настоящей жизни, а в какой-то давно забытой жизни?

— А что же мы были тогда друг другу? — спросил Чехов.

— Только не муж и жена, — быстро ответила я.

Мы оба рассмеялись.

— Но мы любили друг друга. Как вы думаете? Мы были молоды... И мы погибли... при кораблекрушении? — фантазировал Чехов.

— Ах, мне даже что-то вспоминается, — смеясь сказала я.

— Вот видите. Мы долго боролись с волнами. Вы держались рукой за мою шею.

— Это я от растеренности. Я плавать не умела. Значит, я вас и потопила.

— Я тоже плавать не мастер. По всей вероятности, я пошел ко дну и увлек вас с собой.

...— Встретились же мы теперь, как друзья.

— И вы продолжаете вполне мне доверять?

— Как доверять? — удивилась я. — Но ведь вы меня потопили, а не спасли...

Антон Павловича не забывали присутствующие. Его часто окликали и обращались к нему с вопросами, с приветствиями.

— А как я вас ждала, — вдруг вспомнила я. — Еще когда жила в Москве, на Плющихе. Когда еще не была замужем.

— Почему ждали? — удивился Антон Павлович.

— А потому, что мне ужасно хотелось познакомиться с вами, а товарищ моего брата, Попов, сказал мне, что часто видит вас, что вы славный малый и не откажетесь по его просьбе прийти к нам. Но вы не пришли.

— Скажите этому вашему Попову, которого я совершенно не знаю, что он мой злейший враг, — серьезно сказал Чехов.

И мы стали говорить о Москве, о Гольцеве, о «Русской мысли».

...Стали подходить чокаться... Антон Павлович вставал, откидывал волосы, слушал, опустив глаза, похвалы и пожелания. И потом садился со вздохом облегчения.

—...Вам сколько лет? — спросил он неожиданно.

— Двадцать восемь.

— А мне тридцать два. Когда мы познакомились, нам было на три года меньше: двадцать пять и двадцать девять. Как мы были молоды.

— Мне тогда еще не было двадцати пяти, да и теперь нет двадцати восьми. В мае будет.

— А мне было тридцать два. Жалко.

— Мне муж часто напоминает, что я уже не молода, да и всегда набавляет мне года. Вот и я набавляю.

— Не молоды в двадцать семь лет?...

Стали вставать из-за стола... Я увидела Мишу, который пробирался ко мне, и сразу заметила, что он очень не в духе.

— Я еду домой. А ты?

Я сказала, что еще останусь.

— Понятно, — сказал он, но мне показалось нужным познакомить его с Чеховым.

— Это мой муж, Михаил Федорович, — начала я.

Оба протянули друг другу руки. Я не удивилась сухому, почти враждебному выражению лица Миши, но меня удивил Чехов: сперва он будто пытался улыбнуться, но улыбка не вышла...

...А дома меня ждала гроза. Мише очень не понравилась наша оживленная беседа за столом, очень не понравилось, что мы не сели там, где нам было назначено.

**
*

Письма Антона Павловича она получала тайком, через почтовое отделение, до востребования, делала это потому, что боялась, как бы письмо не пришло в ее отсутствие и не попало бы в руки мужа в недобрый час. Но муж все же знал о переписке, так как Авилова иногда давала ему читать некоторые письма.

— Ты видишь, — говорила она, — как они мне полезны. Я пользуюсь его советами...

— Воображаю, какую ахинею ты ему пишешь. Вот что я желал бы почитать. Дай как-нибудь. Дашь? Нет, я не дала.

**
*

Да, с воспоминаниями Авиловой биографам Чехова придется серьезно считаться.

**
*

— Расскажите мне про ваших детей — сказал Чехов. — Хороший народ. Хорошо иметь своих... иметь семью...

— Надо жениться.

— Надо жениться. Но я еще не свободен. Я не женат, но и у меня есть семья. У меня обязанности.

— А вы счастливы? — спросил он вдруг.

Меня этот вопрос застал врасплох и испугал. Я остановилась, облокотившись спиной о рояль, а он остановился передо мной.

— Счастливы? — настаивал он.

— Но что такое счастье? — растерянно заговорила я. — У меня хороший муж, хорошие дети. Любимая семья. Но разве любить — это значит быть счастливой?

...И вдруг ей сказали:

— Лидия Алексеевна. За вами прислали из дома.

— Что случилось? — вздрогнув, вскрикнула она.

— Левушка, кажется, прихворнул. Анюта прибежала.

— Антон Павлович, голубчик... Я не вернусь туда прощаться. Вы объясните Наде. До свиданья.

Я вся дрожала.

Он взял мою руку.

— Не надо так волноваться. Может быть, все пустяки. С детьми бывает... Успокойтесь, умоляю вас.

Он шел со мной вниз по лестнице.

— Завтра дайте мне знать, что с мальчиком. Я зайду к Надежде Алексеевне. Дома выпейте рюмку вина.

...Миша сам открыл мне дверь.

— Ничего, ничего, — смущенно заговорил он. — Он уже опять спит, и, кажется, жара нет. Без тебя я встревожился. Без тебя я не знаю, что делать. Про тебя спросил: где мама? Видишь, мать, без тебя мы сироты.

Он пошел со мной в детскую. Никакого жара у него не было.

— А ты представляешь себе, как ты меня испугал?..

— Ну, прости. Сердишься?... А я все-таки без тебя жить не могу. Ну, прости. Ну, поговорим... Весь вечер без тебя...

«А я уже знала теперь, — пишет Авилова, — в первый раз, без всякого сомнения, определенно, ясно, я знала, что люблю Антона Павловича».

**
*

Была масленица. Одна из тех редких петербургских маслениц — без оттепели, без дождя и тумана, а мягкая, белая.

Ее муж уехал на Кавказ, и у них в доме было тихо, спокойно и мирно.

В пятницу у Лейкиных должны были собраться гости, и ее тоже пригласили. Жили Лейкины на Петербургской, в собственном доме.

Она сперва поехала в театр, кажется, на итальянскую оперу, где у Авилых был абонимент. К Лейкиным попала довольно поздно. Ее встретила в передней Прасковья Никифоровна, нарядная, сияющая и, как всегда, чрезвычайно радушная.

— А я боялась, что вы уже не приедете, — громко заговорила она, — а было бы жаль, очень жаль. Вас ждут, — шепнула она, но так громко, что только переменялся звук голоса, а не сила его.

— Я задержала? Кого? Что?

— Ждут, ждут...

...«Скоро позвали ужинать, — пишет Авилова. — Было всего очень много: и закусок, и еды, и водки, и вин, но больше всего шума.

Антон Павлович был очень весел. Он не хохотал (он никогда не хохотал), не возвышал голоса, но сме-

шил меня неожиданными замечаниями. Вдруг он позавидовал толстым эполетам какого-то военного и стал уверять, что если бы ему такие эполеты, он был бы счастливейшим на свете.

— Как бы меня женщины любили. Влюблялись бы без числа. Я знаю.

Когда стали вставать из-за стола, он сказал:

— Я хочу проводить вас. Согласны?

Мы вышли на крыльцо целой гурьбой. Извозчики стояли рядом вдоль тротуара, и некоторые уже отъезжали с седоками, и, опасаясь, что всех разберут, я сказала Чехову, чтобы он поторопился. Тогда он быстро подошел к одним саням, уселся в них и закричал мне:

— Готово, идите.

Я подошла, но Антон Павлович сел со стороны тротуара, а мне надо было обходить вокруг саней. Я была в ротонде, руки у меня были не свободны, тем более что я под ротондой поддерживала шлейф платья, сумочку и бинокль. Ноги вязли в снегу, а сесть без помощи было очень трудно.

— Вот так кавалер, — крикнул Потапенко, отъезжая.

Кое-как, боком, я вскарабкалась. Кто-то подоткнул в сани подол моей ротонды и застегнул полость. Мы поехали.

— Что это он кричал про кавалера? — спросил Чехов. — Это про меня? Но какой же я кавалер? Я — доктор. А чем же я проштрафился как кавалер?

— Да кто же так делает? Даму надо посадить, устроить поудобнее, а потом уже самому сесть как придется.

— Не люблю я назидательного тона, — отозвался Антон Павлович. — Вы похожи на старуху, когда ворчите. А вот будь на мне эполеты...

— Как? Опять эполеты?

— Ну, вот. Опять сердитесь и ворчите. И все это от того, что я не нес ваш шлейф.

— Послушайте, доктор... Я и так чуть леплюсь; а вы еще толкаете меня локтем, и я непременно вылечу.

— У вас скверный характер. Но если бы на мне были густые эполеты...

В это время он стал надевать перчатки, длинные, кожаные.

— Покажите. Дайте мне. На чем они? На байке?

— Нет, на меху. Вот.

— Где вы достали такую прелесть?

— На фабрике, около Серпухова. Завидно?

Я их надела под ротондой и сказала:

— Ничуть. Они мои.

Извозчик уже съезжал с моста.

— А куда ехать, барин?

— В Эртелев переулок! — крикнула я.

— Это зачем? На Николаевскую.

— Нет, в Эртелев. Я вас провожу, а потом усядусь поудобнее и поеду домой.

— А я за вами, сзади саней побегу, как собака, по глубокому снегу, без перчаток. Извозчик, на Николаевскую.

— Извозчик, в Эртелев!

Извозчик потянул вожжи, и его кляча стала.

— Уж и не пойму... Куда теперь?

Поехали на Николаевскую. Я отдала перчатки.

**
*

...Подъезжали к Николаевской.

— Вы еще долго пробудете здесь? — спросила я.

— Хочется еще с неделю. Надо бы нам видеться почаще, каждый день. Согласны?

— Приезжайте завтра вечером ко мне, — неожиданно для самой себя предложила я. Антон Павлович удивился.

— К вам?

Мы почему-то оба замолчали на время.

— У вас будет много гостей? — спросил Чехов.

— Наоборот, никого. Миша на Кавказе, а без него некому у меня и бывать. Надя вечером не приходит. Будем вдвоем и будем говорить, говорить...

...Извозчик с Чеховым отъехал и стал поворачивать, описывая большой круг по пустынной широкой улице. Мы продолжали переговариваться.

— Непременно приеду, — говорил Чехов своим прекрасным низким басом, который как-то особенно звучал в просторе и тишине, в мягком зимнем воздухе. — Хочу убедить вас писать роман. И как вы были влюблены в офицера.

— Кто это сказал?

— Вы сами. Давно. Не помните? Будете спорить? Дверь отпирал швейцар в пальто внакидку.

— Ну, до завтра.

— Да. А вы не будете сердиться? Будете добрее. Женщина должна быть кротка и ласкова.

Не было у меня предчувствия, что меня ждет.

**
*

И вот настал этот вечер.

С девяти часов я начала ждать.

У меня был приготовлен маленький холодный ужин, водка, вино, пиво, фрукты. В столовой стол был накрыт для чая. Я представила себе так: сперва я заташу Чехова в детскую. Пусть позавидует. Дети еще не будут спать, а будут ложиться, а тогда они особен-

но прелестны. Самое веселое у них время. Потом мы пойдем пить чай. Потом перейдем в кабинет, где гораздо уютнее, чем в гостиной. Сколько необходимо сказать друг другу.

Ужинать позднее.

В начале десятого раздался звонок. Прижавши руку к сердцу, я немного переждала, пока Маша шла отворять, пока отворила и что-то ответила на вопрос гостя. Тогда я тоже вышла в переднюю и прямо застыла от ужаса. Гостей было двое, мужчина и женщина, и они раздевались. Значит, это не было недоразумение: они собирались остаться, сидеть весь вечер. А всего несноснее было то, что это были Ш., Мишины знакомые, к которым он всегда тащил меня насильно, до того они были мне несимпатичны. Я ее положительно не выносила. И он, и она были математики, преподавали где-то.

— Да, это мы, мы! — закричала В. У. — А Михаил Федорович на Кавказе?...

**
*

В десять часов Маша доложила, что чай подан.

Я вздрогнула и кинулась в столовую. Так оно и было. Весь мой ужин стоял на столе. И вино, и фрукты.

— Да, здесь целый пир, — вдруг закричала В. У. за моей спиной. — Вы ждали гостей? Петя, мы с тобой так рано обедали...

Я угощала, подкладывала.

— Очень вкусный соус. Это ваша кухарка? Как? Вы сами? А Михаил Федорович говорил, что вы не любите хозяйничать. Больше в сфере фантазии, поэзии.

На наших больших столовых часах было половина одиннадцатого. Ясно, Антон Павлович не придет, и я уже была этому рада.

Вдруг в передней раздался звонок, и я услышала голос Антона Павловича. Он о чем-то спросил Машу.

— Что с вами? — крикнула В. У. — Петя! Скорей воды... Лидии Алексеевне дурно.

— Нет, я ничего, — слабо сказала я. — Почему вам показалось?

— Но вы побледнели, как мел...

**
*

Вошел Антон Павлович, и я представила друг другу своих гостей.

Какой это был взрыв хохота.

— Как? Антон Павлович Чехов? И Лидия Алексеевна не предупредила нас, что ждет такого гостя?... Вот когда вы ответите мне, Антон Павлович, на вопросы, которые я ставила себе каждый раз, как читала ваши произведения. Я хочу, чтобы вы ответили.

Она напала на Чехова, как рысь на беззащитную лань. Она впиалась в него, терзала, рвала на части, кричала, хохотала. Она обвиняла его, что он тратит свой большой талант на побасенки, что он ходит кругом и около, а не решает задачи, не дает идеала. Все у него расплывчато, нет точности, нет математичности. Математичности нет, нет. Ха, ха, ха.

Антон Павлович несколько раз растерянно оглядывался на меня... Антон Павлович защищался слабо, нехотя, говорил односложно. Он сидел над своим стаканом чая, опустив глаза.

Но вдруг Ш. встал и сказал жене:

— Вера, нам пора домой.

— Домой? — вскрикнула она. — Но, Петя, когда я дождусь еще случая высказать то, что Чехов должен выслушать? Должен он понять свой долг как писатель...



...Дверь хлопнула, и мы с Антон Павловичем в изнеможении перешли в кабинет.

— Вы устали, — сказал Антон Павлович. — Я уйду, вас утомили гости.

Что со мной делалось? Я едва могла говорить.

— Прошу вас, останьтесь.

— Кстати... не можете ли вы дать мне то, что обещали. Газеты с вашими рассказами и рукопись.

Я все собрала заранее и передала ему пакет.

...Мне было стыдно и больно. Приняла гостя, нечего сказать.

— Вам надо лечь спать, — сказал Чехов, — вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше... и вы будете рады, когда я уйду... помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы?... Знаете, что я был серьезно увлечен вами? Это было серьезно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны, и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы еще похорошели и что вы другая, новая, что опять вас надо узнавать и любить еще больше по-новому. И что еще тяжелее расставаться...

Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку; я — против него на кресле. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно.

— Знали ли вы это?

У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его...

— Я вас любил, — продолжал Чехов уже совсем гневно, и наклонялся ко мне, сердито глядя мне

в лицо. — Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали вы это?

Он взял мою руку и сейчас же оставил ее...

— О, какая холодная рука.

И сейчас же он встал и посмотрел на часы.

— Половина второго.

...В ушах у меня шумело, в голове вихрем неслись мысли, но ни одной я не могла остановить, схватить, понять. Сказать я тоже ничего не могла. Что делалось в моей голове? Как это было мучительно...

Я с трудом встала и пошла его провожать.

— Так не увидимся, — повторил он. Я молчала и только вяло пожала его руку.

Мы жили на четвертом этаже. Вся лестница была ярко освещена. Я стояла на площадке и смотрела, как он бежит вниз. На первом повороте я его окликнула:

— Антон Павлович.

Он остановился и поднял голову. Подождал и опять побежал.

Я ничего не сказала.

**
*

На другой день я получила с посылным пакет с книгой и моими рукописями и письмо. Книга была только что вышедший сборник его рассказов с сухой надписью: «Л. А. Авиловой от автора».

...Промучившись еще дня два, я приняла решение. В ювелирном магазине я заказала брелок в форме книги. На одной стороне я написала: «Повести и рассказы. Соч. Ан. Чехова», а на другой — «Стран. 267, стр. 6 и 7».

Если найти эти строки в книге, то можно было прочесть: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

Когда брелок был готов, я вырезала в футляре напечатанный адрес магазина, запаковала и послала в Москву брату. А его просила отнести и отдать в редакцию «Русской мысли».

Брат передал Гольцеву для передачи Антону Павловичу.

Я сделала все это с тоски и отчаяния. Адрес же вырезала, чтобы не было явного признания, чтобы все-таки оставалось сомнение для него, а для меня возможность отступления. Не могла же я отдать ему свою жизнь! Разве что сразу четыре жизни: мою и детей. Но разве Миша отдал бы их мне? И разве Антон Павлович мог их взять?»

**
*

И до чего все было сложно. Разве можно после опубликования воспоминаний Авиловой серьезно говорить о Мизиновой.

**
*

«Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил мой подарок. Я ожидала последствий и тревожилась, и волновалась. То мне казалось, что он приедет, то я ждала от него письма и вперед сочиняла содержание. Иногда это была холодная отповедь.

...Но время шло, и не было ни Чехова, ни письма, не было ровно ничего.

Как мне надоело разбираться в моих мыслях.

Одно для меня было ясно: ничего не могло быть понятнее, естественнее и даже неизбежнее, чем то, что я полюбила Чехова».

**
*

«Как-то он сказал мне: «У вас врожденная непрописная нравственность. Это много». Сказал он это по следующему поводу: завязался общий разговор о том, справедливо ли, что ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь? Одни говорили, что справедливость тут ни при чем, и что раз церковь благословила союз, то он должен быть крепок и нерушим. Другие горячо протестовали, приводя всякие доводы. Чехов молчал — и вдруг тихо спросил: «А ваше мнение?» Я сказала: «Надо знать, стоит ли?» — «Не понимаю. Как стоит ли?» — «Стоит ли новое чувство тех жертв?... Ведь непременно должны быть жертвы. Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а не о себе. К себе не надо жалости. Тогда ясно: стоит или не стоит».

Позже, гораздо позже, я вспомнила этот разговор и могла предположить, что он имел большое значение. Тогда Антон Павлович и сказал мне:

— У вас непрописная нравственность... Это много.

Но разве этого было достаточно, чтобы он мог любить? Он!

Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил брелок, но не отозвался ничем, даже переписка наша прекратилась. *Надо было жить без него* ».

(Курсив мой. И. Б.)

**
*

На маскарад — а он описан прекрасно, — сделало бы честь и большому писателю, — Авилова приехала с братом Алексеем. Мне кажется, что тот знал, что на маскараде будет Чехов, но скрыл это от сестры.

— Как я рада тебя видеть, — сказала, подойдя к Чехову, измененным голосом Авилова.

— Ты не знаешь меня, маска, — ответил он, пристально оглядев ее.

От волнения и неожиданности она дрожала. Тогда, ни слова не говоря, Чехов взял ее под руку и повел по залу, потом, боясь, что ее узнает Немирович-Данченко и другие, предложил пойти в ложу.

— А ты знаешь, кто я? Кто же? Скажи!

Она вырвала у него свою руку и остановилась. Он улыбнулся.

— Знаешь, скоро пойдет моя пьеса, — не отвечая на вопрос, сообщил он.

— Знаю, «Чайка».

— «Чайка». Ты будешь на первом представлении?

— Непременно.

— Будь очень внимательна. Я тебе отвечу со сцены. Но только очень внимательна. Не забудь.

Он опять взял ее руку и прижал к себе.

— На что ты ответишь?

— На многое. Но следи и запомни.

Они вошли в пустую аванложу, на столе стояли бутылки шампанского и бокалы.

— Это ложа Суворина, — сказал Чехов, — сядем. Чокнемся.

Он стал наливать шампанское.

— Не понимаю, — сказала Авилова, — ты смеешься? Как ты можешь сказать мне что-нибудь со сцены? Как я пойму, что именно эти слова относятся ко мне? Да ведь ты не знаешь, кто я.

— Ты поймешь. Сядь пей, пожалуйста.

— Жарко!

Она подошла к зеркалу.

— Хочешь попудриться. Я отвернусь: сними маску — и Чехов сел к Авилловой спиной.

Она следила за ним в зеркало: он не шевельнулся, но она маски не сняла.

Потом они сидели рядом, пили.

Все написано очаровательно. Когда они вернулись в зал, где двигалась и шумела какая-то сказочная или кошмарная толпа и над всем гудел непрерывно оркестр, а голова у нее слегка кружилась, сердце то замирало, то билось усиленно, она глядя ему в лицо говорила:

— Я тебя любила. Тебя, тебя...

— Кажется, не было ни одного часа, когда я не думала бы о тебе. А когда я видела тебя, я не могла наглядеться. Это было такое счастье, что его трудно было выносить. Ты не веришь мне? Дорогой мой!..

**
*

И дальше:

— Но ты не кончила рассказывать свой роман, — сказал Чехов. — Я слушаю.

— Роман скучный, а конец печальный.

— Конец печальный?

— Я же тебе сказала, что не знаю, любила ли я действительно. Разве это значит любить, если только борешься, гонишь эту любовь, прислушиваешься к себе с постоянной надеждой, кажется, выздоравливаю, кажется, я наконец победила. Разве это любовь?

— Не было бы любви, не было бы и борьбы, — быстро сказал он.

— Ах! Значить ты мне веришь!

— Я не знаю тебя, маска.

Он взял ее под руку и встал.

— Тут много любопытных глаз, — сказал он. — Ты не хочешь еще вина? Я хочу.

Они опять поднялись в ложу и вошли в нее, после того как Чехов убедился, что она пуста.

**
*

И вот прочитав исповедь Авиловой, (все то, что я привожу в выдержках), советский биограф Котов в предисловии к сборнику заявляет, что в отношении Чехова к Авиловой главным образом проявляется его интерес к ней, как к писательнице, которая могла бы выступить с темой о зависимом положении женщин. А эмигрантские литературоведы, Бог им судья, те просто даже не обратили внимание на воспоминания Авиловой.

**
*

Что же услышала Лидия Алексеевна в театре?

«Очень трудно, — пишет она, — описать то чувство, с которым я смотрела и слушала.

Но вот... вышла Нина, чтобы проститься с Тригориным: Она протянула ему медальон и объяснила: «Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги».

«Какой прелестный подарок!» — сказал Тригорин и поцеловал медальон.

Нина ушла... а Тригорин, разглядывая, перевернул медальон и прочел «страница 121, строки 11 и 12». Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую Аркадину:

— Есть ли мои книги в этом доме?

И уже с книгой в руках он повторил: «страница 121, строки 11 и 12». А когда нашел, прочел тихо, но внятно: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

**
*

С самого начала, как только Нина протянула медальон, с Авиловой делалось что-то странное: она сперва замерла, едва дышала, опустила голову, потому что ей казалось, что весь зрительный зал, как один человек, обернулся к ней и смотрит ей, в лицо. В голове был шум, сердце колотилось, как бешеное. Но она не пропустила и не забыла: страница 121, строки 11 и 12. Цифры были другие, не те, которые она напечатала на брелке. «Несомненно это был ответ мне со сцены, — пишет Авилова, — и ответил он мне, только мне».

**
*

Книга Чехова в шкапу, найти ее ничего не стоит. Найти и прочесть. Но надо пить чай, есть ветчину, слушать Мишу и отвечать. А что там? на этой странице 121 и на строках 11 и 12! Ах, скорей бы скорей!

Наконец чай отпит. Миша прошел через гостиную в спальню.

— Мать! Ты скоро?

— Да, сейчас.

Тогда она прошла в кабинет и со свечой в руках поспешно нашла книгу, дрожащими руками отыскала страницу 121 и, отсчитав строки, прочла: «...кие фе-

номены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?»

В полном недоумении она пересчитала строки.

...«Спать, — пишет Авилова, — я не могла.

И вдруг точно молния блеснула в моем сознании: я выбрала строки в его книге, а он, возможно, в моей?

Миша давно спал. Я вскочила и побежала в кабинет, нашла свой томик «Счастливица», и тут на странице 121, строки 11 и 12, я прочла: «Молодым девицам бывать в маскараде не полагается».

Вот это был ответ! Все он угадал, все знал.

**

В театре Суворина шла переводная пьеса.

...В антракте Авилова пошла в фойе. Спешно спускаясь вниз уже после звонка, увидела Антона Павловича. Он стоял в коридоре у дверей своей логи, той самой, где они когда-то пили шампанское. Увидев ее, он быстро шагнул ей навстречу и взял ее руку.

— Пьеса скучная, — поспешно сказал он. — Вы согласны? Не стоит смотреть ее до конца. Я бы проводил вас домой. Ведь вы одна?

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — ответила она. — Если вы уйдете, вы огорчите Суворина.

Антон Павлович нахмурился.

— Вы сердитесь. Но где и когда я мог бы с вами поговорить? Это необходимо.

— И вы находите, что самое удобное на улице?

— Так скажите: где? когда?

Дверь логи открылась, и показался Суворин.

— Видите, вас ищут. Идите скорей на ваше место. — Я засмеялась и быстро пошла по коридору.

— Кажется, ясно, что я выздоровела, — сказала она себе, хотела пойти в зрительный зал, но разду-

мала, пошла к вешалке, оделась и ушла. Ветер налетал порывами и мешал идти.

— Свезу? — спросил извозчик.

Она поколебалась и прошла мимо.

— Удивительно умно все, что я сделала и сказала! — казнила она себя. — Выздоровела!.. Боже, до чего я несчастна! А он хотел поговорить со мной. О чем? «Необходимо...» И что же, я опять оскорбила его?

Она подумала и с грустью решила: «Нет, он понял. Он все понимает, он все знает... и ему тяжело».

Но как тяжело? Из сострадания?

Ах, если бы он любил меня!

«А тогда что?»

...последнего вопроса она разрешить не могла.

**
*

Они решили встретиться в Москве. Авилова должна была быть там, Антон Павлович сказал ей, что приедет из Мелихова.

18 марта 1897 года он ей написал:

«Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с Вами, очень — несмотря на то, что вы сердитесь и желаете мне всего хорошего «во всяком случае». Я приеду в Москву до 26 марта, по всей вероятности в понедельник в 10 часов вечера, остановлюсь в Б. Московской гостинице, против Иверской».

...Она послала ему свой московский адрес, и 23 получила в Москве записку с посылным:

«Б. Московская гостиница № 5. Суббота.

Я приехал в Москву раньше, чем предполагал, когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть до-

ма. Не найдете ли вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к вам? Желаю вам всего хорошего. Ваш Чехов».

Я сейчас же ответила, что вечером буду у него.

**
*

Как я и обещала в письме, в восемь часов я вошла в «Московскую».

Швейцар принял у меня пальто, и я стала подниматься по лестнице.

Вдруг он окликнул меня.

— А вы к кому?

— К Чехову.

— Так его дома нет. Вышел.

— Не может быть! Вероятно, он не велел принимать? Он нездоров. Он мне писал...

— Не могу знать. Только его нет. С утра уехал с Сувориным.

**
*

Я стояла на лестнице в полной растерянности.

Прибежал какой-то лакей.

— Вот не верят, что Антон Павловича дома нет, — сказал ему швейцар.

— Он мне назначил. Я ему писала...

— Писем да записок с утра тут вон сколько накопилось, — сказал швейцар.

Тогда я быстро спустилась. На подзеркальнике грудкой лежала почта, и я, быстро перебирая ее, нашла свое письмо и зажала его в руке.

**
*

На другой день пришел Алеша, брат Авилловой, и сообщил, что Антон Павлович серьезно заболел и его отвезли в клинику.

А 25 утром она получила записочку.

«Вот вам мое преступное Curriculum vitae: в ночь под субботу я стал плевать кровью. Утром поехал в Москву. В 6 часов поехал с Сувориным в Эрмитаж обедать и едва сел за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом. Затем Суворин повез меня в Славянский базар; доктора; пролежал я более суток — и теперь дома, т. е. в Больш. Моск. гостинице. Ваш А. Чехов.

Понедельник».

**
*

Около трех часов дня во вторник мы с Алешей входили в приемную клиники. Нас встретила женщина в белом.

— Вот... моя сестра хотела бы видеть Чехова, — сказал Алеша.

На лице женщины в белом выразился ужас, и она подняла плечи и руки.

— Невозможно! Совершенно невозможно! Антон Павлович чрезвычайно слаб. Может быть допущена только Марья Павловна.

— А нельзя ли нам поговорить с доктором?

— С доктором? Но это бесполезно.

Пришел доктор и сразу заявил:

— Антона Павловича видеть нельзя. Допустить вас я не могу ни в коем случае.

Тогда заговорила я.

— В таком случае передайте ему, пожалуйста, что я сегодня получила его записку и... вот... приходила, но что меня не пустили.

— Сегодня получили записку? Но он заболел еще третьего дня.

Я достала письмо Чехова и протянула ему.

— Он писал вчера.

Доктор отстранил письмо и насупился.

— Подождите, — сказал он и быстро вышел.

— Видишь? Пустят... — сказал Алеша.

**
*

Младший брат Лидии Алексеевны, Алексей Алексеевич Страхов, музыкант, обожал ее. С ним я познакомился в эмиграции, он бывал у нас на Бельведере. К сожалению, я тогда не знал о отношениях его сестры и Чехова, а теперь Алеши давно нет в живых.

**
*

Когда доктор вернулся, он сперва пристально посмотрел на меня, покачал головой и развел руками.

— Что тут поделаешь? — сказал он. — Антон Павлович непременно хочет вас видеть. Пстойте... Вы в Москве проездом?

— Да.

— И это, чтобы видеться с вами он, больной, поехал из деревни в такую погоду?

— Приехал Суворин... — начала я.

— Так, так! И чтобы встретиться с Сувориным, он рискнул жизнью? Дело в том, сударыня, что он опасен, что всякое волнение для него губительно. Я снимаю с себя ответственность. Да.

Я растерялась.

— Что же мне делать? Уйти?

— Невозможно теперь. Он вас ждет. Волнуется. Что тут поделаешь. Идемте.

Мы стали подниматься по лестнице.

— Что бы он ни говорил, — ни слова! Вредно. Помните: от разговора, от волнения опять пойдет кровь. Даю вам три минуты, не больше. Сюда... Ну... ну... — мягче прибавил он, — ничего... Сами будьте спокойнее. Через три минуты приду.

Он лежал один. Лежал на спине, повернув голову к двери.

— Как вы добры... — тихо сказал он.

— О нельзя говорить! — испуганно прервала я. — Вы страдаете? Болит у вас что-нибудь?

Он улыбнулся и показал мне на стул около самой кровати.

— Три минуты, — сказала я и взяла со стола его часы. Он отнял их и удержал мою руку.

— Скажите: вы пришли бы?

— К вам? Но я была, дорогой мой.

— Были?!

— Да не разговаривайте! нельзя.

...— Я слаб, — прошептал он.

— О чем вам рассказать, чтобы вы молчали?

— Сегодня едете?

— Нет, завтра.

— Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать. Придете?

— Конечно.

Вошел доктор и с любезной улыбкой обратился к Чехову.

— Пора, Антон Павлович. Не утомитесь.

— Минутку... Лидия Алексеевна! У меня просьба...

Доктор предупредяюще поднял палец и потом подал ему листик бумаги и карандаш. Антон Павлович написал:

«Возьмите мою корректуру у Гольцева в «Русской мысли» сами. И принесите мне почитать что-нибудь ваше и еще что-нибудь».

Когда я прочла, он взял у меня записку и написал:

«Я вас очень лю... благодарю». «Лю» он зачеркнул и улыбнулся.

Я простилась и пошла к двери.

Вдруг Антон Павлович окликнул меня.

— Лидия Алексеевна! Вы похожи на гастролершу! — громко сказал он.

— Это платье — Чайка, — смеясь, сказала я.

Доктор возмутился.

— Антон Павлович! Вы сами врач... Завтра, если вам будет хуже, — никого не пущу. Никого!

Мы с Алешей шли обратно, и я все время утирала слезы, которые катились по лицу.

**

Дома меня ждали две телеграммы. Одна: «Надеюсь встретить 27. Очень соскучились». Другая: «Выезжай немедленно. Ждем. Целуем».

На другое утро третья: «Телеграфируй выезде. Жду».

Я отправилась в редакцию «Русской мысли» к Гольцеву за корректурой.

Узнав, что я была в клинике, он стал меня спрашивать о состоянии здоровья Чехова и подозвал еще двух или трех лиц.

— Вот... свежие новости об Антоне Павловиче.

— Плохо, что весна, — сказал кто-то. — Вчера река прошла. Это самое опасное время для таких больных.

— Я слышал, что он очень плох, очень опасен... — сказал еще кто-то.

— Значит, к нему допускают посетителей?

— Нет, нет, — сказал Гольцев. — Лидия Алексеевна передаст ему наши поклоны и пожелания. И скажите ему, что с корректурой спеха нет. Пусть не утомляется.

Я ушла из редакции очень расстроенная. Антон Павлович произвел на меня впечатление умирающего, а тут еще говорили, что он очень, очень плох, упоминали про реку... «Самое опасное время»... Чувствовалось, что считали его погибшим.

Идти в клинику было рано (раньше двух меня не пустили бы), и я пошла на реку.

На мосту я подошла к перилам и стала глядеть вниз. Лед уже шел мелкий, то покрывая собой всю реку, то оставляя ее почти свободной. День был солнечный, какой-то особенно голубой и сияющий, но в нем мне чудилась угроза, как и в мчавшейся из-под моста буйной нетерпеливой реке. Набегали льдины, кружились и уносились вдаль. Мне казалось, что река мчится все скорее и скорее, скорее, и от этого слегка кружилась голова.

Вот... Подточило, изломало и уносит. И жизнь мчится, как река, и тоже подтачивает, ломает, сбивает и уносит. «Самое опасное время»... «Плох Антон Павлович! Очень плох!»

Припомнилась мне его печать, которой он последнее время запечатывал свои письма. На маленьком красном кружочке сургуча отчетливо были напечатаны слова: «Одинокому везде пустыня».

«До тридцати лет я жил припеваючи», — как-то сказал он мне.

После тридцати осилила, изломала жизнь?

Жизнь! могла ли она удовлетворить такого чело-

века, как Чехов? Могла ли не отравить его душу горечью и обидой?

...едва он серьезно и требовательно оглянулся кругом, как уже начал себя чувствовать в пустыне, как уже стал одиноким.

**
*

Я пошла покупать цветы. Антон Павлович написал: «И еще что-нибудь». Так вот пусть цветы будут «что-нибудь».

В клинику я пришла как раз во-время. Меня встретила сестра.

— Нет, Антону Павловичу не лучше, — ответила она на мой вопрос. — Ночью он почти не спал. Кровохарканье, пожалуй, даже усилилось...

— Так меня не пустят к нему?

— Я спрашивала доктора, он велел пустить.

Сестра, очевидно, была недовольна и бросала на меня неодобрительные взгляды.

Я сорвала с своего букета обертку из тонкой бумаги.

— Ах! — воскликнула сестра. — Но ведь этого нельзя! Неужели вы не понимаете, что душистые цветы в палате такого больного...

Я испугалась.

— Если нельзя, так оставьте... оставьте себе.

Она улыбнулась.

— Все-таки, раз вы принесли, покажите ему.

**
*

В палате я сразу увидела те же ласковые, зовущие глаза.

Он взял букет в обе руки и спрятал в нем лицо.

— Все мои любимые, — прошептал он. — Как хороши розы и ландыши...

Сестра сказала:

— Но этого, Антон Павлович, никак нельзя: доктор не позволит.

— Я сам доктор, — сказал Чехов. — Можно! Поставьте, пожалуйста, в воду.

Сестра опять кинула на меня враждебный взгляд и ушла.

— Вы опоздали, — сказал Антон Павлович и слабо пожал мою руку.

— Нисколько. Раньше двух мне не приказано. Сейчас два часа.

— Сейчас семь минут третьего, матушка. Семь минут! Я ждал, ждал.

— Нельзя вам говорить! — прервала я его.

— Когда вы едете?

— Сегодня.

— Нет! Оставайтесь еще на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу!

Я достала и дала ему все три телеграммы. Он долго их читал и перечитывал.

— По-моему, на один день — можно.

— Меня смущает это «выезжай немедленно». Не заболели ли дети?

— А я уверен, что все здоровы. Оставайтесь один день для меня. Для меня, — повторил он.

Я тихо сказала:

— Антон Павлович! не могу.

...Мысли беспорядочно неслись в моей голове.

— Значит, нельзя, — сказал Антон Павлович.

И я убедилась, что он опять все знает и все понимает. И Мишину ревность, и мой страх.

Ночью она в вагоне не спала. Не могла сладить со своими чувствами.

29-го она получила письмо от Антона Павловича. «Ваши цветы не вянут, а становятся все лучше. Коллеги разрешили мне держать их на столе. Вообще, вы добры, очень добры, и я не знаю, как мне благодарить вас.

Отсюда меня выпустят не раньше Пасхи; значит, в Петербург попаду не скоро. Мне легче, крови меньше».

**
*

Мне часто вспоминается рассказ Чехова, — записала Авилова. — Кажется, он называется «Шуточка».

Зимний день. Ветер. Ледяная гора. Молодой человек и молодая девушка катаются на санках. И вот каждый раз, как санки летят вниз, а ветер шумит в ушах, девушка слышит: «Я люблю вас, Надя».

Может быть, это только так кажется?

Они вновь поднимаются на гору, вновь садятся в сани. Вот сани перекачнулись через край, полетели... И опять слышится: «Я люблю вас». Но проходило самое короткое время, и все становилось буднично, обычно, а письма Антона Павловича холодны и равнодушны.

**
*

Она ждала августовскую книгу 1898 года «Русской мысли» с большим волнением. В письмах Чехова Авилова привыкла угадывать многое между строк, и теперь ей представилось, что он усиленно

обращает ее внимание на августовскую книгу, хочет, чтобы она ее скорей прочла.

«И едва книга вышла, я купила ее, а не взяла в библиотеке, как я обыкновенно делала.

Одно заглавие «О любви» сильно взволновало меня. Я бежала домой с книгой в руке и делала предположения. Что «О любви» касалось меня я не сомневалась, но что он мог написать?

В Мишином кабинете за письменным столом я разрезала книгу и начала читать.

Но вот Луганович приглашает к себе Алехина, и появляется его жена, Анна Алексеевна. У нее недавно родился ребенок, она молода, красива и производит на Алехина сильное впечатление. «Анна Алексеевна Луганович». У меня тоже был маленький ребенок, когда мы познакомились с Антоном Павловичем.

Мне сейчас же вспомнилось:

«А не кажется вам, что когда мы встретились в первый раз, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?»

Это спросил Антон Павлович на юбилейном обеде.

И я читала нетерпеливо и жадно.

«...Мне некогда было даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни, я думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе».

Через страницу, уже после второго свидания, Алехин говорил:

«Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней...»

Тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать читать.

«Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы от-

крыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с ней, мне казалось невероятным, что эта моя тяжелая грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего дома... Честно ли это?.. Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?..»

«И она, повидимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях...»

Я уже не плакала, а рыдала, захлебываясь. Так он не винил меня, а оправдывал, понимал, горевал вместе со мной.

«...Я чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга».

**
*

«В последние годы, — читала Авилова, — у Анны Алексеевны уже бывало другое настроение, она выказывала странное раздражение против меня, что бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас».

О, как же. Я помню, как я «поздравила» его, когда он один раз уронил свою шапку в грязь. Ему, вероятно, вздумалось откинуть прядь волос, и он махнул рукой по шапке.

«...Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Я дочла книгу и легла головой на книгу.

Из какого «высшего» надо исходить — я не поняла. И что более важно, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, — я тоже не знала. Знала и понимала я только одно: что жизнь защемила меня и что освободиться от этих тисков невозможно, — если семья мешала мне быть счастливой с Антоном Павловичем, то Антон Павлович мешал мне быть счастливой в моей семье.

**
*

А вот эту выдержку из рассказа «О любви» Авилова целиком не приводит. А она для понимания ее отношений с Чеховым очень важна.

«Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней. Я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека... имеет от него детей, понять тайну этого неинтересного человека... и я все старался понять, почему она встретила именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду».

**
*

«Я схватила листок бумаги и написала Антону Павловичу письмо. Что писала — я не обдумывала. Но чтобы не раздумать, я сейчас же пошла и бросила

письмо в почтовый ящик. Уже на обратном пути я пожалела о том, что сделала. Неласково было мое письмо.

А через несколько дней я получила ответ.

«30 августа, Мелихово.

Я поеду в Крым, потом на Кавказ и, когда там станет холодно, поеду куда-нибудь за границу. Значит, в Петербург не попаду.

Уезжать мне ужасно не хочется. При одной мысли, что я должен уехать, у меня опускаются руки и нет охоты работать. Мне кажется, что если бы эту зиму я провел в Москве или в Петербурге и жил бы в хорошей теплой квартире, то совсем бы выздоровел...

Это скитальческое существование да еще в зимнее время — зима за границей отвратительна, совсем выбило меня из колеи.

Вы несправедливо судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед.

Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазии, — могу сказать одно: чужая душа потемки.

Погода скверная. Холодно. Сыро.

Крепко жму вам руку. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш Чехов».

Да, одиночество его было велико. Он знал все о своей болезни, любил Авилову, боялся за нее; любя, оберегал ее, не хотел разрушать семью, зная, какая она мать.

**

*

В середине апреля 1899 года Чехов приехал в Москву. Она ему написала, что 1 мая она будет проездом в Москве.

«1-го мая я буду еще в Москве, — тогда ответил ей Чехов. — Не приедете ли вы ко мне с вокзала пить кофе? Если будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливками; дам и ветчины».

Но ей приехать к Чеховым было неудобно. От поезда до поезда было часа два или немного больше и надо было накормить всех завтраком, выхлопотать отдельное купе. Ехать на каких-нибудь четверть часа не стоило. Так она и написала Антону Павловичу. Однако едва они кончили завтракать на вокзале, как увидели Антона Павловича, который шел, оглядываясь по сторонам, очевидно отыскивал их. В руках у него был пакет.

— Смотрите, какие карамельки, — сказал он подздоровавшись. — Писательские. Как вы думаете, удостоимся ли мы когда-нибудь такой чести?

На обертке каждой карамельки были портреты Тургенева, Толстого, Достоевского...

— Чехова еще нет, — сказала она, — странно. Успокойтесь, скоро будет.

Антон Павлович подозвал к себе детей и взял Ниночку на колени.

— А отчего она у вас похожа на классную даму? — спросил он.

— Почему — классная дама?

Но он так ласково перебирал локоны белокурых волос и заглядывал в большие серые глаза, что мое материнское самолюбие успокоилось. Ниночка припала головкой к его плечу и улыбалась.

— Меня дети любят, — ответил он.

**
*

Пришел носильщик и объявил, что можно занимать места, взял багаж и пошел, следом за ним побежали дети и француженка.

Антон Павлович взял ее ручной саквояж и две коробки конфет, которые ей привезли провожающие в Петербурге. «Мы тоже собрались идти, — пишет Авилова, — когда я заметила, что пальто расстегнуто. Так как руки его были заняты, то я остановила его и стала застегивать пальто.

— Вот как простужаются, — сказала я.

— И вот так всегда, всегда напоминают, что я больной, что я уже никуда не гожусь. Неужели никогда нельзя этого забыть? Ни при каких обстоятельствах?

— А я вот здорова, да насилу отговорила вас посылать за теплой одеждой Марии Павловны. Вам можно заботиться о том, чтобы я не простудилась, а мне нельзя?

— Так почему же мы ссоримся, матушка? — спросил Антон Павлович и улыбнулся.

— Вы сегодня не в духе, — заметила я и, смеясь, прибавила, — хотя в новых калошах.

— Совсем не новые, — опять сердито возразил Антон Павлович.

Мы шли по платформе.

— Вы знаете, теперь уже десять лет, как мы знакомы, — сказал Чехов. — Да. Десять лет. Мы были молоды тогда.

— А разве мы теперь стары?

— Вы — нет. Я же хуже старика. Старики живут, где хотят и как хотят. Живут в свое удовольствие. Я связан болезнью во всем...

— Но ведь вам лучше.

...— Вы сами знаете, чего стоит это улучшение. А, знаете, — неожиданно, оживляясь, прибавил он, — мне все-таки часто думается, что я могу поправиться и выздороветь совсем. Это возможно. Это возможно? Неужели же кончена жизнь?

Из окна купе смеялись и кивали три детских личика.

— Пойдем в вагон, — предложил Антон Павлович. — Мало того, что у вас скверный характер, вы легкомысленны и неосторожны. Ваш костюм меня возмущает. Как вы поедете ночью на лошадях. Сколько верст?

Ребята обрадовались нам, как будто мы давно не видались.

Антон Павлович сейчас же опять взял Ниночку на колени, а мой сын протянул Антону Павловичу книгу.

— Я ее купил здесь в киоске. Вы это читали?

Антон Павлович взял книгу и перелистал ее.

— Я эту книгу читал, — очень серьезно сообщил он. — Это сочинение Пушкина. Это хорошая книга.

Лодя просиял.

— Это стихи. Вы любите стихи, Антон Павлович?

— Да, я очень люблю стихи Пушкина.

— А сегодня вечером пойдет «Чайка», — потом ей сказал он. — Без публики, только для меня. Ах, какие артисты. Какие артисты. А я сердит на вас, что вы не захотели остаться... и посмотреть «Чайку».

Послышался звонок, и Антон Павлович встал.

Мне вдруг вспомнилось прощание Алехина с Луганович в вагоне перед самым отходом поезда: «Я обнял ее, она прижалась к моей груди»... Я почувствовала, как вдруг заколотилось сердце и будто что-то ударило в голову.

Я не видела, как Антон Павлович простился с детьми, но со мной он не простился вовсе и вышел в коридор. Я вышла за ним. Он вдруг обернулся, взглянул на меня строго, холодно, почти сердито.

— Даже если заболете, не приеду, — сказал он. — Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого... Вам не по средствам. Значит, не увидимся.

Он быстро пожал мою руку и вышел.

— Мама, мама, — кричали дети, — иди скорей, скорей...

Поезд уже стал медленно двигаться. Я видела, как мимо окна проплыла фигура Антона Павловича, но он не оглянулся.

Я тогда не знала, не могла предположить, что вижу его в последний раз...

В эту холодную весеннюю лунную ночь, — пишет Авилова, — в нашем саду непрерывно пели соловьи. Их было несколько. Когда тот, который пел близко от дома, замолкал, слышны были более дальние, и от хрустального звука их щелканья, от прозрачной чистоты переливов и трелей воздух казался еще более свежим и струистым. Я стояла на открытом выступе балкона, куталась в платок и глядела вдаль, где над верхушками деревьев, рассыпавшись, мерцали звезды.

Даже и в теплом платке было очень холодно. Без малейшего ветра, воздух набегал волнами, и в нем, как хрустальные ледяные ключи, били соловьиные трели».

Лучше описать такую ночь трудно, и какой такт, ни слова о себе, о своих чувствах!

**
*

Выдержка из письма от 14 февраля 1904 года Чехова к ней:

«...Всего Вам хорошего, главное — будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато: вероятно,

она на самом деле гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы — это еще вопрос»...

«Сотни раз перечитывала я это письмо, — вспоминает Авилова. — «Жизнь проще, не стоит мучительных размышлений». И мне казалось, что он горько улыбается, оглядываясь в прошлое на себя».

VII

После нашего отъезда из Москвы мы не имели сведений о судьбе Лидии Алексеевны Авиловой. В 1922 году, когда мы жили в Париже, в середине ноября, пришло письмо из Чехословакии. Взглянув на последнюю страницу, я увидел подпись: Л. Авилова. Странно было то, что письмо было отправлено по адресу, по которому обычно нам писали из России родные. В те годы мы жили почти исключительно тем, что происходило в России, в вечном волнении за судьбу родных и близких. Ее письмо мы читали волнуясь.

**
*

С тех пор прошло много лет. Лидии Алексеевны давно уже нет в живых. Теперь, после прочтения ее воспоминаний, я решил опубликовать выдержки из ее писем.

**
*

В Чехословакию Лидия Алексеевна приехала к своей больной дочери, вот к той Ниночке, которая очаровала меня в Москве, которая когда-то, будучи ребенком, сидела на коленях у Антона Павловича во время последнего свидания на вокзале.

Письма Лидии Алексеевны Авиловой я печатаю с большими сокращениями.

**
*

10 ноября 1922 года.

Дорогие Иван Алексеевич и Вера Николаевна,

Я выбралась из России ровно месяц тому назад и ужасно мне захотелось перекликнуться с Вами. А Вам, пожалуй, нисколько этого не хочется. Перед отъездом была у Лидии Федоровны*) и могу сообщить Вам, что она бодра, мало изменилась... Попала я как раз в день рождения отца Веры Николаевны**), было много гостей, и я не хотела входить, но меня втащили и чуть ли не заставили съесть кусок пирога. Вероятно, вышло очень неловко и невежливо, что я все-таки отказалась и убежала. Но я стала дикая, нелюдимая и не умею разговаривать с малознакомыми, а в особенности боюсь оживления, веселости. Лидия Федоровна очень стыдила меня за это. Она нашла, что я слишком пала духом. А я тогда еще не знала, какое испытание ждет меня впереди. Я... так стосковалась о Ниночке, что не могла больше жить без нее. А когда я увидела ее, я пришла в ужас: у нее какая-то новая, ужасная болезнь, еще очень мало известная. Обычно она сопровождается безумием, а Нина сохранила всю ясность головы, но утратила умение двигаться. Поражены двигательные центры. И лицо стало неподвижной маской, а все движения похожи на движения автомата. Говорят, что ей уже лучше, что она уже оживает, и я представить себе не могу, что было, когда было хуже. У

*) Мать моей жены, Лидия Федоровна Муромцева.

**) Праздновали семидесятилетие Николая Андреевича Муромцева.

нее ребенок 3-х лет. Что она перетерпела, как беженка с ребенком, трудно себе представить! И все время, все время — самая тяжелая беженская нужда. Теперь хоть мы вместе. Но, простите, пожалуйста, что я занимаю вас моими семейными делами. Пожалуй, Вы и не помните мою Ниночку. Мне-то кажется, что Вы все прежние, близкие и, когда я ехала за границу, я думала о Вас как о друзьях. А ведь так много воды утекло!

Если бы мы встретились, то, конечно, было бы о чем поговорить, а писать — не знаю сейчас о чем, потому что не знаю, изменились ли Вы, как все и как всё.

Я давно ничего не читала. Книги мне были не по средствам...

...Дорогой меня обокрали.

...буду ждать, что Вы откликнетесь. Так одиноко. Вы всегда хорошо относились ко мне и писать Вам мне приятно.

Желаю Вам всего, всего лучшего.

Преданная Вам Л. Авилова.

**
*

Я попросил Лидию Алексеевну подробно написать с том, что она пережила в России.

**
*

20 XII 22.

...Ваше письмо причинило мне ту странную боль, которая теперь заменяет мне чувство радости. Но, хотя это и боль, но настолько приятная, что я Вам

бесконечно благодарна. Я уже привыкла к нужде, к безденежью и ко всяким лишениям и очень прошу Вас не делайте ничего, что могло бы доставить Вам беспокойство. Если бы Вы знали, как я рада, что получила возможность перекликнуться с Вами!

... Никто, кажется, не пережил революцию с меньшими приключениями, чем я. Жила в Москве, все на той же квартирке в Гагаринском и просидела в своих четырех стенах четыре года. Конечно, выходила на улицу, так что выразилась я неправильно; но никуда дальше своих переулков и Смоленского рынка. Так как жить было совершенно не на что, и мы сильно голодали, то при первой же возможности я стала выходить ежедневно на рынок продавать свои старые вещи, уцелевшие от грабежа. Ходко шли тряпки, и вот я обвешивалась своими юбками, блузками и становилась в ряд торгующих и таким образом зарабатывала себе и сыновьям на хлеб. Какая это была мечта — черный хлеб вволю! Достать его было и трудно, и опасно, и сколько раз мне приходилось бегать от комиссаров, укрываться от облавы. Но эти стоянки на рынке были отчасти интересны, в особенности летом, когда они не сопровождались физическими страданиями от холода. Наш ряд так и назывался буржуйным или дворянским, так как продавали тогда не комиссионеры, а бывшие собственники и собственницы и «общество» было высшее. Можно сказать — сливки Москвы, у нас было принято говорить по-французски, и мы рады были практике. Летом нас немилосердно пекло солнце и, вообразите, мне это было полезно. Шила я сумочки, кисеты, галстуки, и большею частью дела мои шли недурно, тогда покупателем была деревня и солдаты, ошалевшие от прилива к ним денег. В особенности подгородные деревни, промышленяющие огородами, закупали с радостью все, что только казалось им заманчивым: одежду, украшения, серебро и

в особенности занавески. Теперь рынок уже второй год совершенно изменился, и наш брат уже не имеет права не только стоять, или прохаживаться со своим товаром: надо брать права, платить, а старые вещи не идут с рук, так как открылись магазины с «новостями» для разбогатевших спекулянтов; а деревня, конечно, больше не покупает. Голодали мы сильно года два. Вот теперь я хорошо знаю, что значит голод! Вы думаете, это просто? Это целая психология, и если бы я подробно и искренне не записывала своих переживаний, я, вероятно, теперь не поверила бы, что я все это испытала. Трудно было еще потому, что голод сопровождался холодом. Выше 4-х наш Реомюр не поднимался; утром бывало 0°, бывало, что и ниже нуля. И совершенно невозможно согреться; дрова на счету; ни чаю, ни кофе; пили жареную морковь, противно! Стала я прихварывать и в конце концов потащила к доктору. Мечталось мне, что он пропишет мне хины от моих непрекращающихся лихорадок, и я закуплю в аптеке сразу нужное мне количество, а не буду ходить по два раза в день в аптеку, вымаливать по порошку. Но доктор хины мне не прописал, а заявил мне, что у меня туберкулез легких, что необходимо питание, и что я должна лежать, а не ходить по улицам, тем более, что и сердце у меня расширено и малокровие сильнейшее. К этому времени сыновья наши нашли возможность зарабатывать настолько, что я могла бросить торговлю, да и «товары» мои иссякли, и продавалось уже необходимое... Представьте себе всякие служебные и периодические развлечения: обыски, аресты, уплотнения (когда арестовали моего старшего сына, я едва не сошла с ума). Но большие неприятности, по-моему, не так возмутительны, как мелкие; может быть потому, что случаются они реже, возбуждают, поднимают энергию. Словом, это удары, а не зудящие укусы, от которых и защищаться нельзя.

А этих мелких неприятностей было так много, что и перечесать их трудно: лопнувшие от мороза трубы, дымящие переносные печи. Дым, дым без конца! грязь! копоть, сырость, мыши на столе, в постелях, даже в карманах платья; клопы... клопов приносили из учреждений, так как эти учреждения переводили в теплые квартиры, уже раньше реквизированные и загаженные...

...А теперь я думаю, что все это было терпимо. И самое хорошее было то что, Боже мой! о чем я не передумала, сидя одна одинешенька целыми днями и ночами. Сыновья приходили и уходили, уезжали, возвращались. У них была своя жизнь, была работа. У меня ничего, кроме моих мыслей. И еще стоя часами в какой-нибудь очереди, я мечтала, что вечером буду писать, буду «разбираться» в той неразберихе, какую представляла моя душа. Но душу-то свою я чувствовала! — Ну вот: потом попала в санаторию, где поставили меня на ноги тем, что я уже не голодала и жила не в сырости и холоде... И как раз наступила новая экономическая политика НЭП, и было много разговоров, обсуждений и волнений... опять стали восстанавливать сожженные заборы, вставлять окна и, главное, открывать магазины...

Пошла я когда-то на Кузнецкий в английский магазин осуществить свою давнюю мечту: купить мышеловку (я ловила мышей руками) и не верила своим глазам! мертвое воскресло... странное впечатление. Но магазины были почти пусты внутри, так, например, в английском магазине не было ни одной миски без трещины, без отбитого края, или с крышечкой. Я купила себе три мышеловки! — ...

...В это время начала мечтать о поездке к Ниночке. Полтора года я о ней не знала ничего, не знала жива ли она; один знакомый, уезжая за границу, дал мне слово, что разыщет ее, и ему удалось это сделать и устано-

вить между нами переписку. Зять как-то написал мне, что мой приезд необходим, и я решила ехать во что бы то ни стало. Жили они тогда в Сербии, и перебраться туда казалось невозможным. К счастью, им пришлось переехать в Чехословакию, и это очень облегчило мои хлопоты. Поехала я с сестрой...

...Дела много: бедная Нина, 3-летний внученоч. Только вечером свободна часа-два, если нет гостей, и тогда хочется читать, писать. Мучительно хочется книг, газет.

Как видите, жизнь моя была не интересна; но я очень много писала с самого начала революции и, мне кажется, что передумала я в своем одиночестве больше, чем за всю свою долголетнюю жизнь. Такие мысли не проходят даром и, знаете, какой их непосредственный результат? К своему удивлению, я стала везде и всюду чужая. Встречаю здесь много эмигрантов, людей своего круга, но и с ними общего у меня ничего.

Но я так расписалась, что лучше не касаться этой новой темы.

Часто встречала Юлия Алексеевича.*) Он очень худел и старел. Иногда мы гуляли вместе и говорили о Вас.

Ваша Л. Авилова.

У Нины болезнь неподвижности. Лицо, как бессмысленная маска, руки едва двигаются, но она может ходить, разум сохранился.

**
*

17 февраля 1923 года.

...«получили ли Вы мое второе большое письмо? А, может быть, я слишком нетерпеливо жду ответа. В этом захолустье письмо, это такая радость!

*) Мой старший брат.

... В марте мечтаю отправить Ниночку в Будапешт лечиться. Говорят, она может окончательно поправиться. Сестра моя очень хорошо устроилась в Будапеште, дает уроки и за один час в день имеет комнату, за другой — обед и т. д. Вот она и поместит Ниночку у себя. Дорога стоит не дорого. А я останусь здесь с внуком... Сестра пишет, что у них весна, ходят в одних платьях, а у нас метели, грязь, слякоть и все ветер и ветер. Одно время я совсем расклеилась: и легкие затронуты, и сердце опять так расширилось, что трудно было ходить. Пришлось обратиться к доктору, и это обстоятельство представило мне случай узнать, что есть фамилия Отченашик и что Л. Андреев совсем не выдумал нелепый образ своего доктора. «Не нуждается ли здесь кто-нибудь в моей помощи?» спросил он, появляясь в пальто и шляпе в двух наших комнатах. «Есть ли здесь больной или больная?» «Вы желаете, чтобы я помог Вам?» И после утвердительного ответа, он заявил: «в таком случае я сниму пальто».

С моей кредитной бумажки он дал сдачи»...

**
*

5 марта 1923 года.

Дорогая Вера Николаевна,

Сейчас получила Ваше письмо. Большое спасибо, что Вы откликнулись. Я сейчас вся поглощена мечтой отправить свою дочь лечиться в Будапешт. Там есть специалист по этой новой болезни, и у него есть своя клиника. Фамилия его — Гендрашек. Мне о нем говорили еще в Москве. Теперь, конечно, весь вопрос в средствах. Явно, что их нет... На помощь из России рассчитывать невозможно. Сын пишет, что вздорожание опять идет в гору, и жить очень трудно. Малень-

кий внучек, трех лет, связывает мне руки. Я от него отойти не могу. Да и заработка достать здесь нельзя: уж очень город мал, в уроках никто не нуждается. Сестра здесь ничего заработать не могла, а в Будапеште перебивается... Вот к ней-то я и хочу отправить Нину... Здесь ей делали впрыскивания и никаких результатов я не вижу: те же судороги, та же ужасная маска и все то же молчание, которое доводит меня до отчаяния. Ведь так жить нельзя! До моего приезда, когда она не верила в него, она говорила, что хотела бы умереть. До чего же ей тяжело! Вообразите, что она вполне, вполне нормальна, что у нее вся прежняя внутренняя жизнь, но она обречена на неподвижность и молчание: она не считается, ее нет. Это ужас, это мука! У нее единственный обожаемый ребенок и тот избегает ее, видимо, боится выражения ее лица... Вся эта болезнь похожа на колдовство в сказке, где царевна превращается в лягушку только по внешности. Сестра пишет, что говорила с доктором, что форма болезни Нины считается легкой, излечимой в короткий срок... Я все распродала, заложила и потеряла, что у меня было ценного. Остались два недорогих кольца, но, если я продам теперь, я останусь совершенно не при чем, а это жутко на чужой стороне. Мало ли что еще может быть!.. Да и здоровье мое не очень крепкое, а работы здесь у меня много и часто мне приходит в голову: вдруг не выдержу, слягу и меня будут лечить, содержать уже беспомощную. Хорошо, что нет времени думать! Внук отнимает у меня весь день, вечером приходится шить, штопать, чинить. Да еще зять дает мне держать корректуру. Потом засыпаю, как убитая, но и ночью приходится вставать раза два-три.

Неужели пошлете посылку моему сыну? Там ведь опять начинается голодовка.

Вы меня порадовали, сообщив, что французский

критик нашел, что Иван Алексеевич «открыл школу». Если бы он помнил мои слова, он должен был признать, что я говорила ему это чуть не первая. Он тогда засмеялся...

Р. С. Болезнь Нины: эпидемический энцефалит.

**
*

В марте месяце на заседании Московского землячества Вера Николаевна попросила отправить хуверовскую посылку сыну Авиловой. На этом заседании присутствовал И. А. Кистяковский; услышав фамилию Авилова, спросил: «какие это Авиловы?» Узнав о болезни дочери, он сообщил В. Н., что в Страховом обществе (правление которого находилось в Париже) имеются какие-то акции покойного мужа Авиловой, за которые, если продать, можно получить десять тысяч франков. Кистяковский просил сообщить об этом Лидии Алексеевне,

**
*

3 апреля 1923 года.

... Я написала по Вашему совету Игорю Александровичу, и он ответил мне так быстро и так участливо, что я убеждена в его желании мне помочь.

... Думала о Вас, и было мне тепло, тихо и немного грустно. Чувства не пошлешь, а выразить его прилизительно не умею. Разве что, «благодарю Вас?»

Теперь отправила Нину, заложила свою «последнюю мельницу». Вы помните? Это, кажется, поэт К. все закладывал в стихах свою последнюю мельницу?

У меня революция больше всего подействовала на память. Но так как мельницы у меня нет, то заложила я последнее кольцо, и дали мне за него неожиданно много: 300 крон. Станный тут оценщик! за хороший бриллиант дали 150 кр., а за несколько мелких и дешевый сапфир — вдвое. Я таскаю в кассу ссуд своего внученка, и вот мы, очевидно, заслужили там сочувствие. Уж очень мил у меня внученек! Повсюду его балуют, угощают, ласкают. Главное, очень смешной...

...Иван Алексеевич, Вы читали «Под двуглавым орлом»? Почти все в восторге, поднимают палец и говорят: О! О! и только Нина со своей вынужденной кротостью сказала: «Много пошлости. Все дураки. Места не дурны». Кто прав?

Кланяюсь Вам низко. Очень хочется сказать: люблю Вас. Не могу не сказать. Уж простите.

Ваша Л. Авилова.

С праздником! Христос Воскресе!

**
*

В апреле, после вечера, устроенного в пользу писателей и журналистов, удалось выхлопотать для Авиловой 300 франков.

**
*

23 апреля 1923 года.

Не знаю, как и благодарить Вас! Я очень счастлива! Завтра перевожу деньги Нине. Она уже лечится, сестра пишет мне письма полные веры и надежды. Нина сама написала мне, и я удивилась, как изменился ее почерк: вместо совершенно неразборчивых крючков

почти ровные буквы. Значит, рука уже тверже и не так дрожит и дергается.

Кроме Вас, кого я должна и могу благодарить? Вы не выручите меня? не научите? Я должна быть смешной в избытке моей благодарности. А у меня ее, действительно, избыток.

Из этих денег я уделила и на свое личное, громадное удовольствие: я сейчас же, не заходя домой, купила себе башмаки. Зять предлагает мне сохранить мою старую обувь для музея социального рая. Каждый шаг было мучение, а мне как на зло, приходится много ходить. Вот я и буду на каждом шагу благодарить Вас.

...Но, дорогие друзья, если бы Вы знали, как я устала! Ведь я уже старенькая, а мне приходится работать, как молодой и здоровой, и мне иногда плакать хочется, просто от того, что у меня нет сил, что мне так хотелось бы, чтоб меня пожалели и дали бы мне отдохнуть. И поэтому я стала и глупая и бестолковая. Простите мне это, и верьте, что душа-то у меня еще жива и всей душой я еще благодарна Вам за Ваше участие и за Вашу память.

Любящая Вас Л. Авилова.

**
*

В мае Лидии Алексеевне Авилловой было послано из «Комитета писателей и ученых» 500 франков.

**
*

16 мая 1923 года.

...Этого я уже никак не ожидала! Нина собиравась вернуться, но теперь может еще остаться в Будапеште

продолжать лечение. Она стала писать мне длинные письма, чего раньше никак не могла, почерк у нее стал разборчивый и уверенный. Не знаю, стала ли она разговаривать, но со способностью писать вернулась возможность выразить свои мысли.

Сыновья мне пишут, что собираются вскоре помогать мне деньгами, так как заработок их значительно увеличивается, и нужды они уже не испытывают никакой. Я совсем ожила.

А уж как Вы мне помогли! В какую тяжелую пору протянули мне руку.

Простите, что пишу на обрывке. Моя должность няньки часто не дает мне иметь свободную минуту написать письмо или почитать...

**
*

4 июня 1923 г.

...Нина лечится в Будапеште, и я была совсем одна с Мишкой. Мой Мишка прекрасный ребенок, шаловливый, но ласковый, чуткий, нежный. Но ведь ему три с половиной года, и весь день разговоры о лошадях, лисицах, коте, волке и т. д. Весь день я на ногах. Спустишь с него глаза, а он набедокурит. Ни почитать, ни подумать — ничего нельзя. Сестра писала, что Нине лучше, что доктор обещает отпустить ее неузнаваемой. И вот наконец она вернулась...

Первые дни она действительно больше говорила; не только отвечала на вопросы, но и сама немного рассказывала. Это меня страшно радовало. Но здесь отвыкли с ней разговаривать, никто, кроме меня, ее не поддержал, и со дня на день ее оживление исчезало, опять она стала тенью среди живых. Стала она меньше спать. Днем не засыпает, ходит быстро и даже бе-

гает; читает, не роняя книги. Все это успехи. Но до чего она похудела! Экономила на еде и плохо питалась... Кроме того, она стала плохо видеть, ей застилает зрение. Это от приемов атропина. Судорог тоже меньше. Но иногда все улучшения исчезают и картина ужасная... А ее дома ждала крупная неприятность: вышел тут новый закон об иностранцах, и всюду убавили жалованье на 60 процентов. Это раз. Мы занимали хорошую комнату, а теперь должны освободить ее. Это два. Об этом ей поспешили донести, как только она вышла из вагона. Но на другой день ее приезда я получила письмо от Игоря Александровича Кистяковского, (что я могу продать, или заложить мои акции. В первом случае я получу 10.000 фр.) При этом он приложил 100 шведских крон (400 фр.) займа до лучших дней.

Вы можете вообразить, до чего я обрадовалась! У меня крылья выросли. Я уже ничего не боялась. Написала брату, чтобы он подыскал нам осенью комнату в Будапеште, что я приеду с Ниной и Мишей. (А уехать, пожалуй, будет необходимо). Рассчитала я дни, когда могут придти для подписи бумаги. Но все сроки давно прошли, и ничего я не получаю. Когда мне приходит в голову, что Кистяковский ошибся и что я ничего не получу, то мне становится холодно и хочется куда-нибудь провалиться.

Я написала, что нам, пожалуй, необходимо будет уехать. Вот этого Нина не знает и, надеюсь, не подозревает. Это печальное и, вероятно, неизбежное последствие ее болезни. Ее муж молодой и в достаточной мере легкомысленный... Кажется, он и от сына готов отступить и оставить его мне. Во всяком случае он сказал мне, что решит этот вопрос «зрело» и тогда доложит мне. Но дело не в зрелости решения, а в том, что если Нина останется здесь и узнает и увидит то, что знают и видят все, то здоровье ее от этого

не поправится... Я с зятем в лучших отношениях, говорю с ним откровенно, но мягко и ласково. Я не могу слишком строго винить его. Я хочу только, чтобы он пощадил Нину и скрыл бы от нее все до поры до времени.

Теперь, представьте себе, что Кистяковский ошибся, что денег у меня не будет, и мы все останемся на иждивении зятя... А зять сделал себе сокольский костюм с ментиком и прочими принадлежностями и гарцевал на коне перед своей дамой на сокольском празднике...

Нет, вы знаете: они все тут с ума сошли! и женатые и холостые... Один бывший товарищ прокурора ищет себе жену или любовницу и при встрече с женщиной или девушкой прямо делает ей то или другое предложение. Когда ж от него шарахаются, он ходит угрюмый, злой и жалуется, что ему не везет. Другой, здоровый парень, только и делает, что жалуется на свое здоровье, позволяет себе истерические выходки и не заслуживает другого названия, как то, которое я как-то слышала в Москве «хандра кислая». И эта хандра велик и горд, потому что он «откуда-то последний ушел, что-то последний сделал». Конечно, первый будет метать, убивать, казнить. Он велик и горд, потому что сохранил «дух», потому что не поколебался ни в одном своем убеждении, не пошевелил с тех пор ни одной частицей своих мозгов. Они тут пьют что попало, лишь бы допьяна, но никто не выписывает ни одной газеты, ни одной книги и не говорят ни о чем, кроме своих дел. Они все, все что-то «свершили», и успокоились. Их главное, неоспоримое достоинство — непримиримость, и они зорко следят, нет ли кого, кто не то что примирился, но «не пылает ненавистью». Надо пылать! И это пылание должно быть единственным признаком жизни.

У всех женатых либо вторая, либо третья жена,

у более счастливых две сразу. Но они за священный брак, за домострой; они за церковность, за обрядность, а главное, главное за правильное воспитание детей: ребенок должен почитать родителей: «целуй ручку отца!» Ребенок должен молиться. И, когда мой зять присутствует при том, как Мишка ложится спать, молитва обязательна: «Помилуй, Господи, папу, маму... Помилуй, Господи, папку, мамку! гуся моего без головы, лошадку пустую, не живую...» — «Опять шалость!»... Раздается шлепок, Мишка кричит: «бьют, спасайте!» Но он так благодушно настроен, что не огорчается и не обижается. Начинается сначала: «Помилуй, Господи» — с перечислением неизвестных бабушек, тетей и дядей. Потом: «Целуй руку отца» и душеспасительный разговор: «хочешь быть солдатом? пойдешь на войну?...» Исполнив таким образом свой долг, отец исчезает на весь вечер и возвращается пьяным. «Я особенно настаиваю на поддержании в Мишке этого духа, — объясняет мне. — Мой сын должен быть не рассуждающим, а исполняющим. Мы слишком много рассуждали...»

Иногда что-то во мне прорвется, и я устраиваю такой скандал всей этой почтенной публике, что потом самой совестно. Но ведь они все так недоступно высоки! разве они могут допустить хоть на миг, что они пропащие, никуда не годные опустившиеся люди, боящиеся света и воздуха, пропыленные и затхлые. Им ясно одно, что я «передалась большевикам», а еще вернее, — эсерка, из тех, которых они «драть будут». Если же не то и не другое, то во всяком случае поврежденная. Да и наконец баба... Что с бабы взять? А забавная... И потому относятся ко мне, как к смешной чудачке. Кроме меня некому их и насмешить. Но мне мои выступления обходятся дорого: какое отчаяние! Их тут приезжает много, много, и все идут поговорить ко мне, потому что я недавно, сравнительно,

«оттуда». С двумя, тремя отвела душу, поговорила. Но мне кажется, что они подлаживались. Ведь тут нельзя жить со своей точкой зрения на что бы то ни было. Надо подравняться. А у меня и точки-то нет. Я ненавижу там одно, здесь другое; я ищущая и тоскующую, представьте себе! я люблю до отчаяния свою родину, своих русских, каких-то «своих», которые куда-то теперь исчезли и без которых я жить не могу... там у одного извозчика, я помню, такое старенькое в морщинах, доброе лицо. Он предложил мне: «поедем что ли?» Я засмеялась. А он выразительно крикнул и махнул рукой: «Эх, времена!»

Там кто-то что-то понимает. Там мне было очень плохо. Здесь мне противно и скучно. И я боюсь здесь умереть.

К счастью, у одного знакомого чеха много русских книг. Он дал мне всего Герцена, Мережковского (трилогия «Воскресшие боги»), несколько книг Л. Толстого, Горького, Лескова, Щедрина. Горького (сказки) я читать не могла. Много раз принималась и бросала. А «Власть тьмы», что прежде не любила, едва не выучила наизусть. Как мне хочется «Мужики»*) Бунина. Хотела выписать из Праги, но каталога нет.

**

15 августа 1923 года.

...Ах, дорогие друзья мои.

...За это время события шли у нас усиленным темпом: Нина с мужем разошлась. Кистяковский сообщает, что деньги из Парижа в Прагу переведены. Мы собираемся ехать в Россию. Когда передаешь только

*) Характерная ошибка: Лидия Алексеевна Авилова назвала мою «Деревню» «Мужиками» (так озаглавлена повесть Чехова).

факты, то все кажется очень просто. Может быть, что и действительно все очень просто, но, вообразите, что я совершенно ничего во всем этом не понимаю и что мне все кажется, что я вижу во сне какую-то нелепость и, когда проснусь, то буду удивляться: при-снится же этакое!

После двухнедельного знакомства с разведенной дамой, мой зять, несмотря на мои просьбы, объявил Нине, что хочет на ней жениться. Он очень торопится с разводом, но обещал Нине, что, если даже выхлопочет его неожиданно скоро, не женится, пока она еще в Чехословакии. Сына он отдает ей, под тем условием, что он будет воспитываться в любви к нему, будет навещать в Москве его мать, а Нина будет сообщать о нем вести раз в месяц. Это отречение от сына, откровенное признание больной жене в своей новой любви и еще кое-что в этом роде, так возвысили его в его собственных глазах, что он пришел сам от себя в неопикуемый восторг, прекрасное настроение духа и, вместо драмы, получился такой водевиль, что не знаешь, чему удивляться. Ведь никто не видит того, что я вижу: Нинину душу. В водевиле она неуместна. О Господи!

Вера Николаевна пишет, что Иван Алексеевич восхищался Ниной. Почему? Она никогда не была красива, всегда слишком сдержанна и скромна. Она так мало ценила себя, что всегда старалась пройти незаметной. Только близкие друзья знали ее такой, какой она была на самом деле. Иван Алексеевич угадал ее. Он, вероятно, почувствовал в ней то, что ставит выше красоты — «милое». Именно в этом роде он высказывался в одном из своих рассказов. Нина — это кро-тость, мягкость, вдумчивость, но при этом у нее и сильная воля и непобедимое упорство. У нее какое-то свое тайное душевное хозяйство, в котором она незаметно, но неустанно работает, чтобы все было в

порядке: чисто, светло и ясно. Очень уступчивая, всегда готовая стусеваться, она способна на самый энергичный отпор, если затронуть это ее хозяйство. Болезнь замуровала его, сделала совсем недоступным чужому глазу, но работа там идет все та же. В этом мне пришлось убедиться теперь. После неожиданного для нее заявления мужа, что он желает жениться и торопится с разводом, Нина была ошеломлена, не спала всю ночь и все сидела над своим сынишкой и глядела на него, не спуская глаз. У меня была такая потребность говорить, обвинять, бранить, уличать, что я даже не обратила внимания, слушает она меня или нет, и не умолкала, не иссякала в обвинениях, в воспоминаниях и только, когда я уже устала, она сказала мне: «Помни, что я во всем виновата, потому что больна. У меня нет зла. Я так могу и хочу. Помоги мне, а не мучь». Это была программа и по ней мы теперь живем... а зять думает, что это он сумел все так прекрасно устроить и в упоении своей виртуозностью, фамильярничают; а с Ниной нежен, снисходителен, игрив: «Ну, как мы? принарядились? авантажны? ну, улыбнитесь! ручку!» После ручки он уходит к своей «невесте» до поздней ночи, а, вернувшись, кричит из своего коридора, где он спит: «Нинок, спичек! Не приготовила мне чистые носки. Пошевеливайся, мать моя!»

Иногда я прошу: «Нина, позволь мне швырнуть ему спички!» Она смиренно целует мою руку. «Мамочка... он отдает мне Мишку». Да он отдает потому, что ребенок только мешал бы ему, потому что это обуза. Он отдал и потому, что он легкий, и ему все легко.

Кистяковский в день разрыва прислал 1.000 фр. Вечером Вл. Вл. объявил Нине о своей женитьбе, а на другой утро я получила деньги. Это было чудо! С этого утра я взяла на свое попечение Нину и Мишу и отказалась от помощи Вл. Вл. Если бы я

не могла этого сделать, я не знаю, что бы со мной было.

...Нина лечиться не хочет. Она даже бросила принимать лекарства... Сыновья пишут, что нам необходимо ехать к ним, как можно скорей. Я ужасно соскучилась без них, Нине и Мишке будет там тепло и уютно: братья Нину обожают.

Да я не могу не вернуться. Надолго ли хватит моих денег с больной и малышом? А если я сама заболею? все-таки у меня туберкулез и болезнь сердца, я не прочна. Надо взять своих покинутых под верную защиту и прочное покровительство. И я начала хлопотать о Нининой репатриации. Это очень трудно. Я даже не знаю, как это делается, и мне здесь обещали помочь...

Почему у людей бывает такая разница в психике, что даже слова получают другое значение? Почему у человека такой, другой психики, даже лицо немое и на нем ничего нельзя прочесть? Как можно быть до такой степени чужими, как чужды мы здесь?

...Большинство чрезвычайно любезно, это все. Я тоже любезна. Это решительно все. А слова должны быть поверхностные...

25 октября 1923 года.

Дорогие друзья мои,

Наверное Вы уже в Париже. Так давно я вам не писала! Впрочем, это не верно: писала я часто, но никак не могла дописать и отправить. Прервут меня, а на другой день новые известия и посылать написанное не годится. Жизнь моя удивительно однообразна по внешности, но до чего же она пестра по настрою-

ниям! Была я бедна, как церковная крыса, — стала богата; была в подчинении, — стала хозяйкой; не видала конца-краю моему пребыванию в Чехословакии, — теперь почти на пути к своим, домой. Весь ряд волшебных изменений сопровождался опасениями, волнениями, надеждой и отчаянием. Удивляюсь я одному: как при такой нервной трепке, при утомительной и непрерывной работе, я не только выдержала, а поправилась, поздоровела и даже помолодела?

Вера Николаевна права: со мной происходят чудеса: чудом я получила деньги (10 т. франков), чудом мне подарили обратно дочь и в придачу внученка. А теперь я жду еще третьего чуда: выздоровления Нины. Дело в том, что открыли новый способ борьбы с энцефалитом, уже применили его с блестящим успехом, а теперь Нина лечится этим средством... Вы можете себе представить, с каким трепетом я слежу за Ниночкой? Последнее время ей стало значительно хуже. Появилось осложнение: сильная невралгическая боль в спине и руке. Мне приходится ее одевать и умывать, так как к медленности движений прибавилась еще несносная боль. Ходить она тоже почти не может. (По правде сказать, трудно мне очень. До того устаю за день с моими двумя беспомощными, что вечером уж ничего делать не могу). Эта невралгия должна пройти вместе с энцефалитом, но пока облегчения еще нет. Вернулся ее натуральный голос, и это большая радость. Иногда, хотя редко, она оживляется, смеется, шутит. Но улучшение это, или случайность? Был один день удивительный, когда она сама говорила, что чувствует себя прекрасно, что ей много лучше, но он был и прошел, и от него следа не осталось.

Разрешение на въезд в Россию мы уже получили и теперь я хлопочу из всех сил, чтобы нам дали визу на Польшу. Если не дадут, я буду самый несчастный

человек. Ехать кругом, с пересадками, ехать по морю страшит меня смертельно. Я не справлюсь! я их простужу.

...Пишу и чувствую, что едва держу перо от усталости. В голове шум, и я ищу самых простых слов. Мишка кашляет, и я плохо отдыхаю даже ночью. А какой смешной этот мой Мишка! Учимся с ним говорить по-французски. Дается ему очень легко. Но он ловит и чешские и мадьярские слова и вставляет их в свою французскую речь. «Это тоже иностранное». Я ему все сказки сочиняю. Есть у меня сказки Афанасьева, но мне они так не нравятся! А он слушает с упоением. Напишите мне еще сюда, пожалуйста. Можно Вам писать из России? Я и отсюда еще напишу перед отъездом. Дай вам Бог всего лучшего.

Ваша Л. Авилова.

**
*

Мне ничего неизвестно о судьбе Авиловой после возвращения ее в Россию. Переписка наша прекратилась.

В примечаниях, приложенных к сборнику воспоминаний современников о Чехове, кратко сказано: Авилова Лидия Алексеевна (1865 — 1942).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НАБРОСКИ. — ЗАМЕТКИ, ВЗЯТЫЕ ИВАНОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ БУНИНЫМ ИЗ СВОЕЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1914 ГОДА. — ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЧЕХОВСКИХ ПИСЕМ (О ТВОРЧЕСТВЕ, ПИСАТЕЛЯХ, ОБЩЕСТВЕННОСТИ И О ЖИЗНИ И БОЛЕЗНЯХ АНТОНА ПАВЛОВИЧА), КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВОЙТИ В КНИГУ О ЧЕХОВЕ. — ЗАМЕЧАНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ПОЛЯХ КНИГ ЛИТЕРАТУРОВЕДА БИЦИЛЛИ, ЕРМИЛОВА И ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННОКОВ (ГРУЗИНСКОГО, ПОТАПЕНКО, ТЕЛЕШОВА, ЩЕГЛОВА, СТАНИСЛАВСКОГО, НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, ГОРЬКОГО, КУПРИНА, ВЕРЕСАЕВА, ЕЛПАТЬЕВСКОГО, КАРПОВА, ГАРИНА, РОССОЛИМО).

I

В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и «мамашей», Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно — и очень нелегко для меня: все вокруг, — и в саду, и в доме, и в его кабинете, — было как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому было трудно покинуть этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно все осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек, купленных им по пути с Сахалина, в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть,

когда что-нибудь читал, лежало «Воскресенье» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной.

**
*

Всегда было много крикливых людей, теперь их особенно много. А он был из тех, о ком сказал Саади: «Тот, у кого в кармане склянка с мускусом, не кричит о том на всех перекрестках: за него говорит аромат мускуса...» Я писал, что никогда ни с кем не был он дружен, близок по-настоящему. Теперь это подтверждается.

**
*

Если случалось, что бездарный человек пускался при нем кого-нибудь характеризовать или копировать, он не знал, куда глаза спрятать от стыда за этого человека. Что же чувствовал бы он, читая про свою «нежность»? Очень редко и очень осторожно следует употреблять это слово, говоря о нем. Еще более были бы противны ему эти «теплота и грусть». А ведь идут еще дальше: его, воплощенную сдержанность, твердость и ясность, сравнивают иногда с Коммиссаржевской!

**
*

Может быть, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к так называемым поэтическим красотам, к

неосторожному обращению со словом, свойственно-му многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами. Как восторженно говорил о лермонтовском «Парусе»!

— Это стоит всего Брюсова и Урениуса со всеми их потрохами, — сказал он однажды.

— Какого Урениуса? — спросил я.

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса, — сказал он серьезно. — Вот им бы в Одессе жить. Там думают, что самое поэтическое место в мире — Николаевский бульвар: и море, и кафе, и музыка, и все удобства, — каждую минуту сапоги можно почистить.

**
*

Вспоминаю с великим удовольствием еще то, что он терпеть не мог таких слов, как «красиво», «сочно», «красочно».

— Хорошо у Полонского сказано, — говорил я: — «красиво — уж не красота».

— Чудесно! — соглашался он. — А «красочно» — ведь они же не знают, что у художников это бранное слово!

И порою, смеясь, утверждал, что одно из лучших стихотворений начала двадцатого века написано на стене его ялтинского дома Гиляровским:

Край, друзья, у вас премилый,
Наслаждайся и гуляй:
Шарик, Тузик косорылый
И какой-то Бакакай.

Представители того «нового» искусства, которое так хорошо назвал «пересоленной карикатурой на

глупость» Толстой, смешны и противны были ему. Да и мог ли он, воплощенное чувство меры, благородства, человек высшей простоты, высшего художественного целомудрия, не возмущаться этими пересоленными карикатурами на глупость, и на величайшую вычурность, и на величайшее бесстыдство, и на неизменную лживость!

Он умер не во-время. Будь жив он, может быть, все-таки не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения, до изломавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричавших на весь кабак о собственной гениальности...

**
*

Выдумывание художественных подробностей и сближало нас, может быть, больше всего. Он был жаден до них необыкновенно, он мог два-три дня подряд повторять с восхищением удачную художественную черту, и уже по одному этому не забуду я его никогда, всегда буду чувствовать боль, что его нет.

**
*

Раз он купил книжечку, составленную из некоторых произведений моих и Андреева, с пышным заглавием «Восходящие звезды» и с нашими портретами на обложке, — ездил на набережную и возвратился усталый, с зелено-серым лицом, с пепельными губами, но с улыбкой на них и с затаенным блеском в глазах, в том внутреннем возбуждении, которое вспыхивало в нем порою по самому ничтожному поводу и держалось долго, означая, что этот ничтож-

ный повод был толчком для творческой игры его мысли, пробудил того Чехова, который когда-то сказал в молодом задоре Короленке: «Хотите, напишу рассказ вот про эту пепельницу?» И как молодо хотел он в этот день, фантазируя, с каким благоговением могут читать эту книжечку где-нибудь в Мариуполе, Бердянске, и глядя то на мой портрет, — я вышел щеголеватым брюнетом, — то на портрет Андреева в поддевке:

— Это французский депутат Букишон, а это казак Ашинов.

**
*

— Ах, с какой чепухи я начал. Боже мой, с какой чепухи! — говорил он.

Если бы он даже ничего не написал, кроме «Скоропостижной конской смерти» или «Романа с контрабасом», то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумывать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум «по всем жилушкам переливается». И сам он чрезвычайно ценил этот талант, талант шутки, и тех, кто быстро улавливают шутку.

— Да-с, это уж вернейший признак: не понимает человек шутки, пиши пропало!

— А чаще всего, — сказал я однажды, — страдают этим женщины. Кажись, и умна, а не понимает!

— Ах, да, да. И знаете: это уже не настоящий ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.

**
*

«В жизни все просто», — обыкновенно говорил он, бракуя в литературе все нарочитое, искусно скомпанованное, рассчитанное на то, чтобы удивить читателя.

**
*

...«для того чтобы быть достойным природного дара, стать не просто одаренным человеком, а талантливым работником, — для этого нужно воспитывать свой талант, трудиться над ним».

**
*

Чехову не нравился его успех. Он боялся своей славы, боялся стать «модным писателем».

**
*

«Чувство писательской ответственности — уважать свой талант, накапливать силы для истинно художественных произведений».

**
*

...«Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано — глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое со смешным. Вы, господа, просто загипнотизированы и порабощены рутиной и никак не можете с ней расстаться».

Да, (И. Б.)

**
*

Свободину (артисту) он писал: «Недовольство собой составляет одно из коренных свойств всякого стоящего таланта».

**
*

Во всем, что относилось к труду, он был суров, непримирим: как беспощадно отчитал он Лику Мизинову, когда она, взявшись за перевод, не выполнила работы:

«У Вас совсем нет потребности к правильному труду... В другой раз не злите меня Вашей ленью и, пожалуйста, не вздумайте оправдываться. Где речь идет о срочной работе и о данном слове, там я не принимаю никаких оправданий. Не принимаю и не понимаю их».

**
*

«Талант — это труд: талант — это ответственность, талант — это совесть».

**
*

«Литератор — это человек, обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совести» (из письма Чехова к Киселевой 1887 года).

**
*

Чехов Плещееву о Гиляровском: «Он чует красоту в чужих произведениях, знает, что первая и главная прелесть рассказа это простота и искренность, но быть искренним и простым в своих рассказах он не может: нехватает мужества».

**
*

«Талант — это знание жизни. Талант — это — смелость!»

**
*

Он писал: «Талант — это свобода, в том числе «свобода от страстей». Он говорил, что «художник должен всегда обдумывать, потому что иначе он не может жить».

**
*

В. Тихонов подметил в Чехове характерную черту, — «он всегда думал, всегда, всякую минуту, всякую секунду. Слушая веселый рассказ, сам рассказывая что-нибудь, сидя в приятельской пирушке, говоря с женщиной, играя с собакой, — Чехов всегда думал. Благодаря этому он сам обрывался на полуслове, задавал вам, кажется, совсем неподходящий вопрос и казался иногда рассеянным. Благодаря этому он среди разговоров присаживался к столу и что-то писал на своих листках почтовой бумаги».

Я тоже это уже отмечал, что он думает всегда о своем.

**
*

«Истинные таланты, — писал он брату Николаю, — всегда сидят в потемках, в толпе, подалеке от выставки... Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную...»

**
*

...Удивительно знал он женское сердце, тонко и сильно чувствовал женственность, среди образов, рождавшихся в его мечте, есть образы пленительные, много было любивших его, и редко кто умел так, как

он, говорить с женщинами, трогать их, входить с ними в душевную близость...

**
*

Очень зоркие глаза дал ему Бог!

**
*

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудение», — под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспевали» погибающие дворянские гнезда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «Вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симеонов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишне-

вым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопухин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопухину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтого в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше — точно совсем из «Дяди Вани», — истерика Ани: «Мама, мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя ма-

ма, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всем этим студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! — восклицает он, — мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.

**

Кстати, почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» — как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре — как и всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником и разве мало было в России и во всех прочих странах актеров художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, — ведь даже и доньше на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого «Дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно, публично, во всеулышание всей России, сказал Чехову: «Это — твой театр, Антон». Как Кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году — «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания

М. П. Чеховой, и между прочим такие слова ее: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...» В последние годы Чехова я не только бывал, приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нем по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей советской интеллигенции мнение, написав мне в 1936 году: «Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателе нашей страны, и надо, чтобы многие побывали в нем. Почитатель Чехова В. Молотов». Какие мудрые и благосклонные слова!

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в море. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратили в город Горький, древняя столица Тверского удельного княжества, Тверь, — в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушием, не придавала этому ровно никакого значения, — как например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердцещипательной лирикой под гармонь, под тальянку, о котором очень верно сказал Блок: «У Есенина талант пошлости и кощунства», в свое время обещал переименовать Россию Китежа в какую-то «Инонию», орад, раздирая гармонь:

Ненавижу дыхание Китежа!
 Обещаю вам Инонию!
 Богу выщиплю бороду!
 Молюсь ему матерщиною!

**
 *

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть и сереть, ничего не знала кроме реализма, протокольного описания действительности... Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появившиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были не новы — и по духу и по форме — как раз в то время выступившие Гаршин, Чехов?

**
 *

«Тайный рыцарь, Кормщик, Зеленая звезда»... Тогда и заглавия книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны: «Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеинные цветы»... Тогда кроме того ставили их, эти заглавия, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

— Это для косых!



Мне Чехов говорил о «декадентах» не только как о жуликах:

— Какие они декаденты! — говорил он, — они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать...

Правда — почти все были «жулики» и «здоровеннейшие мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, — у Горького, Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого беса», иначе говоря патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно-неподвижный и молчаливый Сологуб, — «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный «мистический анархист» Чулков, иступленный Волынский, малорослый и страшный

своей огромной головой и стоячими черными глазами Минский.

**
*

Многим это покажется очень странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них так:

— На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова...

— Позвольте, — говорю я, — а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?

— Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать...

И, помолчав, с новым смехом:

— И про Художественный театр...

**
*

В 99 году весной иду как-то в Ялте по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаша, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцвет-

ными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами, и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кроме того и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградскую улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутивно-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевым волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае, — с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза.

**
*

Маленькая Ялта, розы, кипарисы... Кофейня и купальня Вернэ на сваях возле набережной. Мои утра там. Купальщицы — не в костюмах, а в рубашках, вздувающихся в воде.

**
*

Весной 1901 г., мы с Куприным были в Ялте. (Куприн жил возле Чехова в Аутке). Ходили в гости к начальнице Ялтинской женской гимназии Варваре Константиновне Харкевич, восторженной даме, обожающей писателей. На Пасхе мы пришли к ней и не застали дома.

Пошли в столовую, к пасхальному столу и, веселья, стали пить и закусывать.

Куприн сказал: «Давай напишем и оставим ей на столе стихи». И стали, хохоча, сочинять, и я написал на скатерти (она потом вышила):

В столовой у Варвары Константиновны
 Накрыт был стол отменно-длинный,
 Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки —
 И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки:
 Все думали, что это крокодил,
 А это Бунин в гости приходил.

Чехов несколько дней смеялся и даже выучил наизусть.

М о с к в а

У Лубянской стены, где букинисты, их лавки, ларьки. Толстомордый малый, торгующий «с рук» бульварными и прочими потрепанными книгами, покупает у серьезного старика-букиниста сочинения Чехова. Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает восемь. Букинист молчит, малый настаивает. Он лезет, пристает — букинист делает вид, что не слушает, нервно поправляет на ларьке книги. И вдруг с неожиданной и необыкновенной энергией:

— Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя по! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты, мордастый ..., за триньку хочешь взять!

16-X-30. Грас, А. М.

II

Вот надпись, сделанная Антоном Павловичем на подаренной мне книге. Она осталась в Москве. Опубликована в 20 томе его писем:

«Ивану Алексеевичу Бунину с восторгом и благоговением. Антон Чехов».

**
*

Удивительная у него родословная. Крестьянский род, талантливый, явившийся с севера.

Зуров мне говорил, что в старину среди мастеров литейного, пушечного и колокольного дела были знаменитые в свое время Чоховы. Может быть, вот почему в семье Чеховых, называли их двоюродного брата Михаила Михайловича Чехова, — Чоховым. Возможно, что так и произносилась когда-то их фамилия.

**
*

На протяжении XVII столетия родиной предков А. П. Чехова было село Ольховатка, Острогожского уезда, Воронежской губернии.

...Первый Чехов, поселившийся здесь, был пришельцем из других мест и, вероятно, с севера, а не

из украинских земель, так как речь Чеховых и в XIX веке и раньше была русская. (Называя себя неоднократно в письмах «хохлом», А. П. Чехов, вероятно, имел в виду, что его бабушка со стороны отца была украинкой).

Иван, Артем и Семен и все их потомки в пяти поколениях числом более ста шестидесяти были земледельцами.

Младший сын Михаила Емельяновича Чехова — Василий сельским хозяйством не занимался. Он был иконописцем.

**
*

Со стороны матери:

Из метрических книг Никольской церкви села Хотимль, раскинувшегося неподалеку на левом берегу реки Тезы, удалось установить, что в середине XVIII века в деревне Фофаново жил крепостной крестьянин Никита Морозов, прапрадед А. П. Чехова со стороны матери.

Второй сын Никиты Морозова, Герасим, родной прадед А. П. Чехова, по данным тех же церковных книг, родился в деревне Фофаново в 1764 году.

Герасим Никитич имел свои баржи, в которых сплавливал хлеб и лес. Кроме того, он торговал другими товарами, в том числе поповскими бобровыми шапками и собольими мехами.

Сплав хлеба производился вниз по реке Цне от Моршанска — Тамбовской губернии, затем по Оке и, наконец, вверх по Клязьме и Тезе. В обратную сторону шел лес.

Отрабатывая офенский оброк, Герасим Никитич сумел в пятидесятитрехлетнем возрасте выкупиться у

своего помещика, поручика А. И. Татаринцева, на волю, выкупив вместе с собой и своего младшего сына Якова, будущего родного деда А. П. Чехова.

**
*

...известно, что многие из внуков Герасима Никитича поумирали в раннем возрасте от чахотки.

**
*

Через три года после выкупа младший сын Герасима Никитича в восемнадцатилетнем возрасте женился на купеческой дочери Александре Ивановне Кохмаковой.

Деревня Сергеево, родина Кохмаковых, расположена в четырех километрах от знаменитого села Палеха, крупного иконописного центра, оказавшего влияние на жизнь и деятельность жителей населенных мест.

Отец Александры Ивановны, бабушки А. П. Чехова, Иван Матвеевич Кохмаков был торговцем-офеней. Он торговал владимирскими льняными изделиями.

**
*

Ольховатка, село Воронежской губ. Острогожского уезда, принадлежала помещику Черткову, крепостным которого был дед Чехова, Егор Михайлович, родом из Ольховатки. Там же родились и дядя Чехова Митрофан Егорович и отец его Павел Егорович.

**
*

Чехов написал Суворину, январь 1889 г.:

«Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напиши-

те-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...»

**
*

1877-1883 г.

М. М. Чехову (двоюродному брату), 29 июля, Таганрог, Чехову 17 лет:

...Наши писали мне, что ты сыграл свадьбу на славу! Желаю, очень желаю, чтобы побольше было таких братьев для сестер, как ты. Мы все для одной сестры не сделаем того, что ты делаешь для всех (не исключая и двоюродных). Хвала тебе и честь! Одно только досадно, я не был на свадьбе и не пил в Москве. А я люблю всевозможные гульбища, русские гульбища, сопряженные с плясками, с танцами, с винопийством.

**
*

Есть намек на намерение Антона Павловича по окончании гимназии (через 2 года) поступить в Цю-

рихский университет, что видно из письма Александра Павловича к нему от 23 июня 1877 г. (Письма Ал. Чехова, стр. 42).

Он, повидимому, учил только немецкий язык, хотел отправиться в немецкую Швейцарию.

Был стипендиатом таганрогской городской Управы. Стипендия (25 р. в месяц) высылалась неаккуратно.

**
*

...с юности заботился о других.

**
*

Селиванов, к которому не совсем чистыми путями перешел во владение таганрогский дом Чехова, получил его за 500 рублей.

**
*

У Чехова каждый год менялось лицо:

В 79 г. по окончании гимназии: волосы на прямой ряд, длинная верхняя губа с сосочком.

В 84 г.: мордастый, независимый; снят с братом Николаем, настоящим монголом.

В ту же приблизительно пору портрет, писанный братом: губастый, башкирский малый.

В 90 г.: красивость, смелость умного живого взгляда, но усы в стрелку.

В 92 г.: типичный земский доктор.

В 97 г.: в каскетке, в пенсне. Смотрит холодно в упор.

А потом: какое стало тонкое лицо!

Самый лучший портрет его приложен к книге «Чехов в воспоминаниях современников».

**
*

Ал. П. Чехову, 20 февраля 1883.

...«Николка шалаберничает; гибнет; гибнет хороший, сильный, русский талант ни за грош... Еще год-два, и песенка нашего художника спета, он сотрется в толпе портерных людей, подлых Яронов и другой гадости... Ты видишь его теперешние работы, что он делает? Делает все то, что пошло, копеечно, а в зале стоит начатой замечательная картина. Ему предложил «Русский театр» иллюстрировать Достоевского... Он дал слово и не сдержал своего слова, а эти иллюстрации дали бы ему имя, хлеб...»

**
*

А. П. Чехову, 2 января 1889, Москва.

...«Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспомнить. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали, во время оно, когда отец поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать душой. Отец теперь никак не может простить себе всего этого».

**
*

**
*

Г. А. Харченко, 19 января 1899 г. Ялта.

«Многоуважаемый Гавриил Алексеевич!

Исполняю Ваше желание, сообщаю подробности, касающиеся моей семьи. Начну с отца, Павла Егоровича. Он скончался 12-го октября прошлого года в Москве, после тяжелой операции. Последние годы своей жизни он прожил у меня в имении; старость у него была хорошая. Мать, Евгения Яковлевна, обыкновенно проживает у меня. Мать очень добрая, кроткая и разумная женщина, ей я и мои братья обязаны многим. Что касается братьев, то старший, Александр, служит в Петербурге, второй, Николай, прекрасный художник, подававший блестящие надежды, умер в 1889 г. от чахотки, третий, Иван, образцовый педагог, служит в Москве заведующим Покровско-Басманным училищем; четвертый, Михаил, в Ярославле, начальник отделения Казенной Палаты. Александр, Иван и Михаил — женаты, я холост. Все мы давно повзросли, но изменились мало в своих отношениях к тем, кто когда-либо был близок к нам».

«Дядя мой, Митрофан Егорович, умер, его похоронили в церковной ограде в уважении к его особым заслугам».

**
*

Жизнь его, с детства и до последних лет, была перегружена страданиями, лишениями, тяжелыми трудностями.

**
*

Чехов жил небывало напряженной внутренней жизнью.

**
*

По мнению М. П. Чехова годы 1888-1889 были какими-то необыкновенными по душевному подъему Антона Павловича: «Он всегда был весел, шутил много и без усталости работал, не мог обходиться без людей».

**
*

«Я положительно не могу жить без гостей, — читаем мы в одном письме Чехова. — Когда я один, то мне почему-то делается страшно».

**
*

Среди видений, посещавших его, была темная, грязная лестница, в пролет которой бросился Гаршин, которого он любил.

**
*

«Невыносимая жизнь! А лестница ужасная. Я ее видел: темная, грязная».

**
*

Щепкина-Куперник:

«Известность его как врача быстро росла, скоро его выбрали в члены серпуховского санитарного со-

вета. Тем временем на Россию надвинулась холера. Ему, как врачу и члену Совета, предложили взять на себя заведование санитарным участком. Он тотчас же согласился и, конечно, безвозмездно. У земства было мало средств, и А. П. взялся собирать их. Он стал объезжать соседних фабрикантов и помещиков и убеждать их давать средства на борьбу с холерой. Немало типов он перевидал тогда — от местных толстосумов до изящнейшей помещицы-графини, с тысячными бриллиантами в ушах, один вид которых в нем возбуждал желание «нагрубить ей по-семинарски», как признавался.

— Я, верно, был бы очень хорошим нищим, — говорил он, — сколько удалось выпросить!

...в его ведении был участок в двадцать пять деревень, четыре фабрики и один монастырь — и со всем этим он управлялся один, с помощью фельдшера, который, как он жаловался, без него не мог сделать ни шагу и «считал его начальством».

**

...«в 1892 году в России был голод. ...А. П. организовал широкую подписку и в суровую зиму отправился туда (в Нижегородскую губернию. И. Б.). Там он устроил столовые, кормил крестьян, делал, что только мог. Между прочим: голодавшее население или продавало за бесценок скот, который нечем было кормить, или убивало его, тем самым обрекая себя еще на голодный год. Чехов организовал скупку лошадей на местах и прокорм их на общественный счет с тем, чтобы весной раздать безлошадным крестьянам».

**

...«Ушел с головой в вопросы народного образования и здравоохранения. Ему обязаны школами Талеж, Новоселки и Мелихово. Он сам наблюдал за стройкой, закупал материалы, делал сметы и чертежи. Принимал деятельное участие в постройке земской больницы, добился проведения шоссе от Лопасни до Мелихова, строил в деревнях пожарные сараи и пр.».

**
*

...Он говорил: «Человек должен быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически».

**
*

«Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!» — писал Антон Павлович сестре.

**
*

Мелиховские наблюдения послужили основой для рассказов Чехова о русской деревне.

**
*

Толстой, отношение которого к Чехову было отношением нежной влюбленности, сказал: «Вот вы — русский! да, очень, очень русский», — ласково улыбаясь, обнял Чехова за плечо.

**
*

На Енисее, — писал Чехов, — жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том — горы, напоминавшие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: «Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега».

А потом, что писал:

«Могу сказать: пожил! Будет с меня. Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове Цейлоне» (из письма к Щеглову).

«На Сахалине я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки с 12 лет. Церковь и школа существуют только на бумаге, воспитывают же детей только среда и каторжная обстановка». (Из письма к А. Ф. Кони).

**
*

Перед тем, как засесть за книгу «Остров Сахалин», Чехов совершил с Сувориным первое свое заграничное путешествие на запад.

Сахалин

Выехал 19 апреля 1890, с Ярославского вокзала в 8 ч. вечера.

С Волги М. П. Чеховой:

23 апреля:

Ливень в Ярославле и на Волге. Дальше солнце...

Письма превосходны.

Опился сатуринским.

По Каме — холод, кое-где снег. Кашель, геморрой.
Двое брюк. Валенки.

Перед отъездом из Москвы было кровохарканье.
14 октября 1888, Суворину: первая кровь в 1884.
Сахалин — нормально?

**
*

Чехов любил с приятелями обедать, ужинать, инициатива была его.

20 октября 1888, Шехтелю: «...Надо бы нам с Вами поужинать»...

**
*

Прежний характер матери, (а отец!).

**
*

О Чехове у Телешова стр. 193.

Еще о Чехове: «В столовой у Варв. Констан.»

Чехов о Сытине — стр. 198.

О Чехове и Эртеле.

**
*

...описание воскресного торга у Чехова (В Москве на Трубной площади: «Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну»).

Хорошо.

**
*

А «Убийство» все-таки необыкновенно замечательный рассказ. (И. Б.).

**
*

20 марта 1897 поехал в СПб, но в Москве — кровь — и клиника! А тут еще Авилова...

*Лучшие, по моему мнению,
произведения Чехова.*

- 1883 — Дочь Альбиона.
 1884 — Жалобная книга. Устрицы.
 1885 — Ворона.
 1886 — Святой ночью. Тина. На пути. Хористка.
 1887 — Беглец. Холодная кровь. Тиф. Каштанка.
 Враги.
 1888 — Степь. Припадок. Пари (?). Красавицы (первая). Именины (?). Скучн. ист.
 1889 — Княгиня.
 1890 — Гусев.
 1891 — Дуэль.
 1892 — Попрыгунья (рассказ хорош, но ужасное заглавие). Жена. Палата № 6. В ссылке (напечатано во «Всемирной иллюстрации»)
 1893 — Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький.
 1894 — Учитель словесности. Черный монах. Бабье царство. Студент. Рассказ старшего садовника.
 1895 — Три года. Убийство. Белолобый. Супруга. Ариадна (хороша женщина).
 1896 — Чайка. Дом с мезонином.
 1897 — Печенег.
 1898 — Ионыч. О любви. Душечка.
 1899 — Дама с собачкой. На святках.
 1900 — В овраге.
 1902 — Архиерей.



Отчего умер Чехов? — Ответил Скиталец:

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Неумолимый рок унес его в могилу.
 Болезнь тяжелая туда его свела....
 Она была — в груди и всюду с ним ходила:
 Вся жизнь страны родной — болезнь его была.

Пророки и вожди, кипя душой мятежной,
 Могли быть гневными, могли, любя карать,
 А он любил людей такой любовью нежной,
 Как любит женщина, как любит только мать.

Печали жгучей яд он выпил полной чашей,
 Впитал в себя всю грусть, глубокий, как родник.
 И был отравлен он тоскою жизни нашей,
 Терпением рабов, и тупостью владык.

Дыханье пошлости ему дышать мешало,
 До гроба мучила холодная вражда.
 И наконец толпа любовью истерзала.
 Но был он одинок повсюду и всегда.

Он жил под темною, загадочною властью
 Судьбы насмешливой, бесчувственной и злой,
 И капля каждая им выпитого счастья
 Была отравлена невидимой рукой.

И, поздно понятый, судимый так напрасно,
 Он умер от того, что слишком жизнь бедна,
 Что люди на земле и грубы и несчастны,
 Что стонет под ярмом родная сторона.

И, оставляя мир, он звал тебя, свобода!
 Последний вздох его уже звучал тобой,
 Он чувствовал, что даль таит лучи восхода,
 А ночь еще сильна и давит край родной.

О родина моя, ты вознесешь моления
И тень прекрасную благословишь, любя,
Но прокляни же ты проклятием презренья
Бездушных торгашей, что продают тебя!

Пусть смерть его падет на гадов дряхлой злобы,
Чьи руки черствые обогрены в крови,
Кто добивал его, а после был у гроба
И громче всех кричал о дружбе и любви.

Блесни над родиной, могучее светило,
Птиц ночи разгони, пронзи ночную тень
И, возрождая жизнь над темною могилой,
Приди торжественный, давно желанный день.

Этими виршами открывается сборник, посвященный памяти Чехова — «Знание».

Как мог Горький напечатать их!

III

В своих воспоминаниях Телешов пишет:

В 1887 году вышла его книга рассказов «В сумерках» — первая за подписью «Антон Чехов», а не Чехонте, как раньше. Он только что выступил на настоящую литературную дорогу. Тогдашняя критика высокомерно молчала; даже «новременский» зубоскал Буренин, сотрудник того же издательства, которое выпустило эту книжку, отметил ее появление таким четверостишием:

Беллетристику-то — эх, увы!
Пишут Минские да Чеховы,
Баранцевичи да Альбовы.
Почитаешь — станет жаль Бовы.

**
*

...Михайловский отозвался о нем холодно и небрежно; а Скабичевский почему-то пророчил, что Чехов непременно сопьется и умрет под забором.

**
*

В воспоминаниях Лазарева-Грузинского сказано, что выражения смелости, которое вообще было свойственно Чехову, кроме дней тяжелой болезни, нет ни на одном портрете, более или менее известном публике. Ведь даже письма Чехова дают представление о нем как о смелом человеке.

Чехова до сих пор по-настоящему не знают (И.Б.).

**
*

«...ты не рожден субъективным писакой... выбрасывай себя за борт всюду, не суй себя в герои своего романа, отрекись от себя хоть на полчаса», — писал он в 1883 г. брату Ал. Павловичу.

...Нужно: отречься от личного впечатления... Субъективность ужасная вещь. Она не хороша уже тем, что выдает бедного автора с руками и ногами... Умешь ты так хорошо смеяться, перенес много, видел чересчур много... Из твоего материала можно делать железные вещи.

**
*

Лейкину, 10 декабря 1883 г. Москва.

«Вот уже три дня прошло, как у меня ни к селу, ни к городу идет кровь горлом. Это кровотечение мешает мне писать, помешает поехать в Питер... Вообще благодарю, не ожидал!.. Три дня не видал я белого плевка, а когда помогут мне медикаменты, которыми пичкают меня мои коллеги, сказать не могу.

...Спасибо, хоть аптека отпускает по дешевой цене. Все-таки хоть этим утешаться можно...

...Как на смех, у меня теперь есть больные. Ехать к ним нужно, а нельзя... Не знаю, что и делать с ними... Отдавать другому врачу жалко, все-таки ведь доход».

**
*

Ему же 7 октября 1884 г.

Зачем Вы меня сравниваете с собой? Литература Ваша специальность. На Вашей стороне опыт, уверен-

ность в самого себя, министерское содержание... А я, пишуший без году неделю, знающий иную специальность, неуверенный в доброкачественности своих извержений, не имеющий отдельной комнаты для письма и волнуемый страстями (...) могу ли я поспеть за Вами?

**
*

М. Е. Чехову, 31 января 1885 г. Москва.

...«Медицина моя шагает помаленьку. Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика более рубля. Знакомых у меня очень много, немало и больных. Половину лечу даром, другая же половина платит мне пяти-трехрублевки. Капитал, конечно, не нажил и не скоро наживу, но живу сносно и ни в чем не нуждаюсь. Если буду жив и здоров, то положение семьи о б е с п е ч е н о».

**
*

Лейкину, 12 октября 1885 г.

«...Да, непрочный кусок хлеба дает литература, и умно Вы сделали, что родились раньше меня, когда легче дышалось и писалось». ...«Денежно я ужасно напуган и, вероятно, в силу этой денежной, совсем не коммерческой тугости я избегаю займов и авансов... Будь у меня деньги, я летал бы по городам и весям без конца...»

**
*

Н. П. Чехову, март 1886 г. Москва.

...«По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, поделишься последней копеейкой, искренен, ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, не ехиден, незлопамятен, доверчив... Ты одарен свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 200.000... Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, и тогда бы тебя уважали, ибо таланту все прощается».

**
*

Ал. П. Чехову, 6 апреля 1886 г. Москва.

...«Не выдумывай страданий, которых не испытал, и не рисуй картин, которых не видел, — ибо ложь в рассказе гораздо скучнее, чем в разговоре.

... Писал ли ты хоть одну вещь долее одного вечера?... Нет и нет. Литература для тебя труда не составляет, а ведь это труд!»

(Выдержка из письма Григоровича: «для этого нужно уважение к таланту, который дается так редко... берегите Ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест... Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики...»)

**
*

Ал. П. Чехову, 10 мая 1886 г.

«Город будущего» выйдет художественным произведением только при следующих условиях: 1) отсутствие продлинновенных словоизвержений политико-

социально-экономического свойства; 2) объективность сплошная; 3) правдивость в описании действующих лиц и предметов; 4) сугубая краткость; 5) смелость и оригинальность; беги от шаблона; 6) сердечность.

**
*

М. Г. Чехову (дяде Антона Павловича) 18 января 1887 года.

... «Работа у меня нервная и волнующая, требующая напряжения... Она публична и ответственна, что делает ее вдвое тяжкой... Каждый газетный отзыв обо мне волнует и меня и мою семью...»

**
*

В. Г. Короленко, 1886 г.

... «Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный; я на замечании, выражаясь языком поэтов, свою чистую музу я любил, но не уважал, изменял ей и не раз водил ее туда, где ей не подобает быть. Вы же серьезны, крепки и верны. Разница между нами, как видите, большая, но тем не менее, читая Вас и теперь познакомившись с Вами, я думаю, что мы друг другу не чужды. Прав я или нет, я не знаю, но мне приятно так думать».

**
*

Ал. П. Чехову, октябрь 1886 г.

...«появились литературные враги, стихи «Тенденциозный Антон», где я назван ветеринарным врачом, хотя никогда не имел чести лечить автора».

**
*

Ему же, 24 октября 1887 г. Москва.

...«Современные драматурги начинают свои пьесы исключительно ангелами, подлецами и шутами, пойдика найди сии элементы во всей России! Найти-то найдешь, да не в таких крайних видах, какие нужны драматургам. Я хотел соригинальничать: не вывел ни одного злодея, ни одного ангела (хотя не сумел воздержаться от шутов), никого не обвинил, никого не опривдал... Удалось ли мне это, не знаю». («Иванов»).

**
*

Первая постановка «Иванова» в театре Корша 19 ноября 1887 г. Петр Кичеев поместил злобный отзыв о пьесе, в котором называет ее «глубоко безнравственной», «нагло циничной путаницей понятий», и «сумбурной». («Московский листок»).

**
*

Пушкинская премия в размере 500 р. была присуждена Чехову Академией Наук 7 октября 1888 г.

**
*

«Степь» напечатана в «Северном вестнике» 1888 г., 3 марта.

**
*

Плещееву А. Н. 19 января 1888 г. Москва.

...«Описываю я степь. Сюжет поэтический, и если я не сорвусь с того тона, каким начал, то кое-что выйдет

у меня «из ряда вон выдающее». Чувствую, что есть в моей повестушке места, которыми я угожу Вам, мой милый поэт, но в общем я едва ли потрафлю... Выйдет у меня 4-5 печатных листов; из них два листа заняты описанием природы и местностей — скучно.

...Писать большое очень скучно и гораздо труднее, чем писать мелочь. Вы прочтете и увидите, какую уйму трудностей пришлось пережить моему неопытному мозгу».

**
*

И. Л. Щеглову (Леонтьеву) 22 января, 1888. Москва.

«...Кое-какие мысли о нашем бессилии, которое деликатный автор назвал безвластием, приходили и мне в голову. В наших талантах много фосфора, но нет железа. Мы, пожалуй, красивые птицы и поем хорошо, но мы не орлы...»

**
*

Д. В. Григоровичу, 5 февраля, 1888. Москва.

...«Я знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится... Он степной царь. Я залез в его владения с добрым намерением, но наерундил немало...»

**
*

Д. В. Григоровичу, 12 января 1888.

...«я взял степь, которую уже давно не описывали. Я изображаю равнину, лиловую даль, овцеводов, (...), попов, ночные грозы, постоянные дворы, обозы, степ-

ных птиц и проч. Каждая отдельная глава составляет особый рассказ, и все главы связаны, как пять фигур кадрили, близким родством. Я стараюсь, чтобы у них был общий запах и общий тон, что мне может удасться тем легче, что через все главы у меня проходит одно лицо. Я чувствую, что многое и поборол, что есть места, которые пахнут сеном, но в общем выходит у меня нечто странное и не в меру оригинальное. От непривычки писать длинно, из постоянного, привычного страха не написать лишнее я впадаю в крайность. Все страницы выходят у меня компактными, как бы прессованными; впечатления теснятся, громоздятся... Но я не робею... Быть может, она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще нетронутыми, и как еще не тесно русскому художнику».

**
*

... «Самоубийство 17-летнего мальчика — тема очень благодарная и заманчивая, но ведь за нее страшно браться! На измучивший всех вопрос, нужен и мучительно-сильный ответ, а хватит ли у нашего брата внутреннего содержания? Нет. Обещая успех этой теме, Вы судите по себе, но ведь у людей Вашего поколения, кроме таланта, есть эрудиция, есть школа, фосфор и железо, а у современных талантов нет ничего подобного, и, откровенно говоря, надо радоваться, что они не трогают серьезных вопросов... я уверен, что X, сам того не сознавая, от чистого сердца наклеветает, налжет и скошунствует, Y подпустит мелкую, бледную тенденцию, а Z объяснит самоубийство психозом. Ваш мальчик — натура чистенькая, милая, ищущая Бога, любящая, чуткая сердцем и глубоко оскорбленная. Чтобы овладеть таким лицом, надо самому

уметь страдать, современные же певцы умеют только ныть и хныкать».

**
*

... «Прозаики еще туда-сюда, поэты же совсем швах. Народ необразованный, без знаний, без мировоззрения. Прасол Кольцов, не умевший писать грамотно, был гораздо цельнее, умнее и образованнее всех современных молодых поэтов, взятых вместе».

**
*

Я. П. Полонскому, 18 января 1888.

... «когда я еще учил историю литературы, мне уже было известно одно явление, которое я возвел почти в закон: все большие стихотворцы прекрасно справляются с прозой».

**
*

...«Требование, чтобы талантливые люди работали только в толстых журналах ...вредно, как все предрассудки. Этот предрассудок глуп и смешон. Он имел еще смысл тогда, когда во главе изданий были люди с ясно выраженной физиономией, люди вроде Белинских, Герценов и т. п., которые не только платили гонорар, но и притягивали, учили и воспитывали, теперь же, когда вместо литературных физиономий во главе изданий торчат какие-то серые круги и собачьи воротни-

ки, пристрастие к толщине издания не выдерживает критики, и разница между самым толстым журналом и дешевой газеткой представляется только количественной, то есть с точки зрения художника не заслуживающей никакого уважения и внимания...»

**
*

Н. А. Плещееву, 23 января 1888.

...«Во всех наших толстых журналах царит кружковая, партийная скука. Душно! Не люблю я за это толстые журналы, и не соблазняет меня работа в них. Партийность особливо, если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха».

**
*

И. Л. Леонтьеву (Щеглову), 4 февраля 1888.

...«Писатели ревнивы, как голуби. Лейкину не нравится, если кто пишет из купеческого быта, Лескову противно читать повести из поповского быта, не им написанные... Все нервны и ревнивы».

**
*

Д. В. Григоровичу, 5 февраля 1888.

...«Я писал о Вашем сюжете — самоубийство 17-летнего мальчика. В своей «Степи» через все восемь глав я провожу 9-летнего мальчика, который, попав в Москву или Петербург, в будущем кончит непременно плохим».

... Я нарочно писал ее так, чтобы она давала впечатление незаконченного труда. Она похожа на первую часть большой повести».

**
*

«Самоубийство Вашего русского юноши есть явление специфическое, Европе незнакомое. Вся энергия художника должна быть обращена на две силы: человек и природа. С одной стороны физическая слабость, нервность, ранняя половая зрелость, страстная жажда жизни и правды, мечты о широкой, как степь, деятельности, беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом мысли; с другой — необъятная равнина, суровый климат, серый суровый народ со своей тяжелой, холодной историей, татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость столиц и проч. Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. В Западной Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно... Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться...»

**
*

А. Н. Плещееву, 6 марта, 1888.

... «в наше время литература попала в плен двенадцати тысяч лжеучений...»

**
*

... «Холодно чертовски, а ведь бедные птицы уже летят в Россию! Их гонит тоска по родине и любовь к отечеству; если бы поэты знали, сколько миллионов птиц делаются жертвою тоски и любви к родным мес-

там, сколько их мерзнет в пути, сколько мук претерпевают они в марте и в начале апреля, прибыв на родину, то давно бы воспели их... Войдите Вы в положение коростеля, который всю дорогу не летит, а идет пешком, или дикого гуся, отдающегося живьем в руки человека, чтобы только не замерзнуть... Тяжело жить на этом свете».

**
*

К. С. Баранцевичу, 30 марта, Москва, 1888.

...«Что касается сборника «Памяти Гаршина», то я могу только позвать Вашу руку за подобные мысли, помимо их прямой цели, они служат еще связующим цементом для немногочисленной, но живущей вразброд и в одиночку пишущей братии. Чем больше сплоченности, тем скорее мы научимся уважать и ценить друг друга, тем больше правды будет в наших взаимных отношениях. Не всех нас ожидает в будущем счастье. Не надо быть пророком, чтобы сказать, что горя и боли будет больше, чем покоя и денег. Потому-то нам нужно держаться друг за друга, и потому-то мне симпатичны Ваша мысль и Ваше последнее письмо, в котором Вы так любите Гаршина».

**
*

А. С. Суворину, 3 апреля 1888.

...«Наши беллетристы и драматурги любят в своих произведениях изображать художников; теперь, читая Крамского, я вижу, как мало и плохо они и публика знают русского художника».

**
*

А. Н. Маслову (Бежецкому), 7 апреля 1888.

...«все эти Гольцевы*) хорошие, добрые люди, но крайне нелюбезные. Невоспитаны ли они, или недогадливы, или же грошовый успех запорошил им глаза — чорт их знает, но только письма от них не ждите. Не ждите от них ни участия, ни простого внимания... Только одно они, пожалуй, охотно дали бы Вам и всем россиянам — это конституцию, все же, что ниже этого, они считают несоответствующим своему высокому призванию».

... «Не скрою от Вас, что, как к людям, я к ним равнодушен, даже пожалуй, еще симпатизирую, так как они сплошную неудачники, несчастные и немало страдали в своей жизни... Но как редакторов и литераторов я едва выношу их. Я ни разу еще не печатался у них и не испытал на себе их унылой цензуры, но чувствует мое сердце, что они что-то губят, душат, что они по уши залезли в свою и чужую ложь... Московские редактора — это помесь чиновников-профессоров с бездарными литераторами — и так мне сдается, что вдохновленные своим успехом и лакейскими похвалами своих блюдолизов, создадут около себя целую школу или орден, который сумеет извратить до неузнаваемости те литературные вкусы и взгляды, которыми издревле, как калачами, славилась Москва».

**
*

А. Н. Плещееву, 9 апреля 1888:

... «Я трус и мнителен; боюсь торопиться и вообще боюсь печататься. Мне все кажется, что я скоро на-

*) Гольцев, редактор журнала «Русская мысль».

доем и обращаюсь в поставщики балласта, как обратились Ясинский, Мамин, Бажин и проч.».

**
*

«Я готов поклясться, что Короленко очень хороший человек. Идти не только рядом, но даже за этим парнем, весело».

**
*

И. А. Леонтьеву (Щеглову), 18 апреля 1888.

...«Читали Вы Бабикова (или Бибикова, Санхо Белинского) воспоминания о Гаршине во «Всемирной иллюстрации»? Какая самолюбивая, приторная, кислая, хвастливая и нетактичная мочалка! Я завидую его апломбу и наивному самомнению, завидую его дружбе с Минским и его обожанию, доходящему до дизентерии, перед богом Ясинским... Он счастлив и доволен!»

**
*

К. С. Баранцевичу, 20 апреля 1888 г.:

... «Я не генерал и не желаю среди своих коллег являться привилегированным существом, для которого позволительны исключения. Как все, так и я».

**
*

А. И. Леману, 30 апреля 1888 г.

... «Простите, я не понял в Вашем письме слов «более или менее солидарных с нами» и, откровенно говоря, стал втупик: откуда Вам известно с кем я солидарен и с кем не солидарен?»

**

И. Л. Леонтьеву (Щеглову), 3 мая 1888:

... «Получил я от Лемана письмо: он извещает, что «мы» (то есть все вы, питерцы) согласились печатать объявления друг о друге в своих книгах, приглашает меня согласиться и предостерегает, что можно в число избранных «включить лишь лиц, более или менее солидарных с нами». В ответ я послал согласие и вопрос: «Откуда Вам известно, с кем я солидарен и с кем не солидарен?» Как у вас в Питере любят духоту! Неужели вам всем не душно от таких слов, как солидарность,... общность интересов и проч.? Солидарность и прочие штуки я понимаю на бирже, в политике, в делах религиозных (секта) и т. д., солидарность же молодых литераторов невозможна и не нужна... Чтобы помочь своему коллеге, уважать его личность и труд, чтобы не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемерить перед ним, — для всего этого нужно быть не столько молодым литератором, сколько вообще человеком... Будем обыкновенными людьми, будем относиться одинаково ко всем, не понадобится тогда и искусственно взвинченной солидарности. Настойчивое стремление к частной, профессиональной, кружковой солидарности, какой хотят у Вас, породит невольное шпионство друг за другом, подозрительность, контроль, и мы, сами того не желая, сделаемся чем-то вроде иезуитских социусов друг у друга... Я не солидарен с Вами, но обещаю Вам по гроб жизни полную свободу как литератору...»

**

Н. А. Лейкину, 11 мая 1888:

«Жизнь русского торгового человека цельнее, по-

лезнее, умнее и типичнее, чем жизнь нытиков, пыжиков, которых рисует Альбов, Баранцевич, Муравлин и проч. ...»

**
*

... Пишет сын поэта Плещеева о Салтыкове:

«Был отец у Салтыкова, который в восторге от «Степи». «Это прекрасно», говорил он отцу и вообще возлагает на Вас великие надежды. Отец говорит, что он редко кого хвалит из новых писателей, но от Вас он в восторге».

**
*

А. С. Суворину 30 мая 1888 г. Сумы.

... «Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм, и т. п. Дело беллетриста изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили и думали о Боге или пессимизме. Художник должен быть не судьей своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем.

... Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, то есть уметь отличить важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком. Щеглов ставит мне в вину, что я кончал рассказ фразой: «Ничего не разберешь на этом свете!» По его мнению, художник-психолог должен разобрать, но я с ним не согласен. Пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь».

**
*

А. Н. Плещееву 27 августа 1888 г. Сумы:

...«Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знавала даже Испания во времена Инквизиции. Вот Вы увидите! Узкость, большие претензии, чрезмерное самолюбие и полное отсутствие литературной и общественной совести делают свое дело. Все эти Гольцевы и Ко. напустят такой духоты, что всякому свежему человеку литература опротивеет, как чорт знает что, а всякому шарлатану и волку в овечьей шкуре будет где лгать, лицемерить и умирать с честью»...

**
*

А. Н. Плещеев:

...«Сколько похвал я слышу Вашей «Степи»! Гаршин был от нее без ума. Два раза подряд прочел».

**
*

А. Н. Плещееву, 4 октября 1888, Москва.

«Был бы рад прочесть, что написал Мережковский...»

...Но боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не по-степенец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником — только и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консистории, так и Нотовичи с Градовским. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу

их в науке, в литературе, среди молодежи... Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы, от лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».

**
*

А. С. Суворину, 3 ноября 1888, Москва.

...«Мережковский пишет гладко и молодо, но на каждой странице он трусит, делает оговорки и идет на уступки — это признак, что он сам не уясняет себе вопроса... Меня величает он поэтом, мои рассказы — новеллами, моих героев — неудачниками, значит, дует в рутину. Пора бы бросить неудачников, лишних людей и проч. и придумать что-нибудь свое. Мережковский моего монаха, сочинителя акафистов, называет неудачником. Какой же это неудачник? Дай Бог всякому так пожить: и в Бога верил, и сыт был, и сочинять умел... Делить людей на удачников и неудачников — значит смотреть на человеческую природу с узкой предвзятой точки зрения. Удачник Вы или нет? А я? А Наполеон? Ваш Василий? Где тут критерий? Надо быть Богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибаться...»

**
*

Ему же 23 декабря, 1888 г.

...«Критики нет. Дующий в шаблон Татищев, осел Михневич и равнодушный Буренин — вот и вся рос-

сийская критическая сила. А писать для этой силы не стоит, как не стоит давать нюхать цветы тому, у кого насморк. Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового: она необразована, дурно воспитана, а ее лучшие элементы недобросовестны и неискренни по отношению к нам. Нужен я этой публике или не нужен, понять я не могу. Буренин говорит, что я не нужен и занимаюсь пустяками. Академия дала премию — сам чорт ничего не поймет. Писать для денег? Но денег у меня никогда нет, и к ним я от непривычки иметь их почти равнодушен. Для денег работаю вяло. Писать для похвал? Но они меня только раздражают. Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхваливали мой «Припадок» во-всю, а описание первого снега заметил только один Григорович, и т. д. и т. д. Будь у нас критика, тогда бы я знал, что я составляю материал — хороший или другой, все равно — что для людей, посвятивших себя изучению жизни, я так же нужен, как для астронома звезда... А теперь я, Вы и проч. похожи на маньяков, пишущих книги и пьесы для собственного удовольствия. Собственное удовольствие, конечно, хорошая штука, оно чувствуется, пока пишешь, а потом?»

**
*

Ему же, 30 декабря 1888 г. Москва.

...«Прошлое у него прекрасное, как у большинства русских интеллигентных людей... Настоящее всегда хуже прошлого. Почему? Потому что быстро сменяет утомляемость. Человек сгоряча, едва спрыгнув со школьной скамьи, берет ношу не по силам, берется

сразу и за школы, и за мужика, и за рациональное хозяйство, и за «Вестник Европы»... воюет со злом, рукоплещет добру, любит не просто и не как-нибудь, а непременно или синих чулков, или психопаток, или даже проституток. Но едва дожил до 30-35 лет, как начинает уже чувствовать утомление и скуку. У него еще и порядочных усов нет, но он уже авторитетно говорит: «Не женитесь, батенька... Верьте моему опыту». Или «Что такое либерализм? Между нами говоря, Катков часто был прав». Он готов уже отрицать и земство и рациональное хозяйство, и науку и любовь...»

... «Чувствуя физическое утомление и скуку, он не понимает, что с ним делается и что произошло».

**
*

«Русский человек — умер ли у него кто-нибудь в доме, заболел ли, должен ли он кому-нибудь, или сам дает взаймы — всегда чувствует себя виноватым».

«Такие люди, как Иванов, не решают вопросов, а падают под их тяжестью и становятся «надломленными» и «непонятыми». Всё от возбуждаемости, присущей нашей молодежи».

«Социализм один из видов возбуждения. Где же он? Он в письме Тихомирова к царю. А чего стоят все русские увлечения: война утомила, Болгария утомила до иронии, Цукки утомила, оперетка тоже».

«Утомляемость (это подтверждает д-р Бертенсон) выражается не в одном только нытье или ощущении скуки. Жизнь утомленного человека очень не равна. Все утомленные люди не теряют способности возбуждаться в сильнейшей степени, но очень ненадолго, причем после каждого возбуждения наступает еще большая апатия».

... «Когда я писал пьесу, то имел в виду только то, что нужно, то есть одни только русские черты. Так, чрезмерная возбуждаемость, чувство вины, утомляемость — чисто русские.

...Говорю Вам по совести, искренне, эти люди родились в моей голове не из морской пены, не из предвзятых идей, не из «умственности», не случайно. Они результат наблюдения и изучения жизни. Они стоят в моем мозгу, и я чувствую, что я не солгал ни на один сантиметр и не перемудрил ни на одну йоту».

**
*

А. С. Суворину, 7 января, Москва, 1889 г.

...«Я рад, что 2-3 года тому назад я не слушался Григоровича и не писал романа! Воображаю, сколько бы добра я напортил, если бы послушался. Он говорит: «талант и свежесть все одолевают». Талант и свежесть многое испортить могут — это вернее. Кроме избытка материала и таланта, нужно еще кое-что не менее важное. Нужна возмужалость — это раз: вторых необходимо чувство личной свободы, а это чувство во мне стало разгораться только недавно. Раньше его у меня не было; его заменяли с успехом мое легкомыслие, небрежность и неуважение к делу».

**
*

В. А. Тихонову, 10 февраля 1889 года, Москва.

... «из Вас едва ли может выработаться театральный критик. Вы человек рыхлый, склонный к припадкам лени, впечатлительный, а все сии качества не годятся для строгого критика, беспристрастного су-

ды. Чтобы уметь писать критику, нужно быть в душе тою рябой бабой, которая без милосердия будет бить Вас. Когда Суворин видит плохую пьесу, то он не навидит автора, а мы с Вами только раздражаемся и ноем: из сего я заключаю, что Суворин годится в судьи и в гончие, а тех (меня, Вас, Щеглова и проч.) природа сработала так, что мы годимся быть только подсудимыми и зайцами. Едина честь луне, едина солнцу...»

**
*

А. С. Суворину, 8 апреля 1889 года. Москва.

...«Читать веселее, чем писать. Я думаю, что если бы мне прожить еще сорок лет читать, читать и читать и учиться писать талантливо, то есть коротко, то через сорок лет я выпалил бы во всех вас из такой большой пушки, что задрожали бы небеса. Теперь же я такой лилипут, как и все».

**
*

Ему же, начало мая, 1889, Сумы.

...читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его «Обломов» совсем неважная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип — это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он

был? И отвечаю: ничем. А коли так, то и пусть себе дрыхнет. Остальные лица мелки, пахнут лейковщиной, взяты небрежно и наполовину сочинены. Эпохи они не характеризуют и нового ничего не дают. Штольц не внушает мне никакого доверия. Автор говорит, что это великолепный малый, а я не верю. Это продувная бестия, думающая о себе очень хорошо и собою довольная... Ольга сочинена и притянута за хвост. А главная беда во всем романе холод, холод...»

«Зато, как непосредственен, как силен Гоголь и какой он художник! Одна его «Коляска» стоит двести тысяч рублей. Сплошной восторг и больше ничего. Это великолепнейший русский писатель».

**
*

А. Н. Плещееву, 14 мая 1889 г. Луга.

...«Мне жаль Салтыкова. Это была сильная голова. Тот сволочной дух, который живет в мелком измощенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет Буренин, но открыто презирать умел только Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения».

**
*

А. Н. Плещееву, 14 сентября 1889 г. Москва.

...«Мне хочется верить, что Короленко выйдет победителем и найдет точку опоры. На его стороне крепкое здоровье, трезвость, устойчивость взглядов и яс-

ный хороший ум, хотя и не чуждый предубеждений, но зато свободный от предрассудков. Я тоже не дамся фортуне живой в руки. Хотя у меня и нет того, что есть у Короленко, зато у меня есть кое-что другое. У меня в прошлом масса ошибок, каких не знал Короленко, а где ошибки, там и опыт. У меня кроме того шире поле брани, богаче выбор; кроме романа, стихов и доносов, я все перепробовал... Оборвавшись на повести, я могу приняться за рассказы; если последние плохи, могу ухватиться за водевиль и этак без конца, до самой смерти».

**
*

А. С. Суворину, 23 октября 1889, Москва.

... «Если б я жил в Петербурге, то напросился бы к Вам в редакторы беллетристического отдела. Я бы чистил и шлифовал все одобренные Вами и Бурениным рассказы и протезировал бы тем, повидимому, никуда не годным вещам, из которых путем сокращения наполовину и путем корректуры можно сделать сносные рассказы. А я наловчился корректировать и марать рукописи...»

**
*

... «24 декабря я праздную 10-летний юбилей своей литературной деятельности. Нельзя ли получить камергера?»

**
*

Л. А. Авиловой 3 марта 1892, Москва:

...«Рассказ Ваш, повторяю, хорош, и, кажется, я ни одним словом не заикнулся о «коренных» поправках. Нужно только студента заменить каким-нибудь другим чином, потому что во-первых, не следует поддерживать в публике заблуждение, будто идеи составляют привилегию студентов и бедствующих репетиторов, и, во-вторых, теперешний читатель не верит студенту, потому что видит в нем не героя, а мальчика, которому нужно учиться... Бог с Вами — уступаю, оставьте Дуню, но утрите ей слезы и велите ей попудриться. Пусть это будет самостоятельная живая и взрослая женщина, которой поверил бы читатель. Нынче, сударыня, плаксам не верят. Женщины плаксы к тому же деспотки. Впрочем, это сюжет длинный».

«Гольцеву я хотел отдать рукопись с единственной целью — увидеть Ваш рассказ в «Русск. мысли». Кстати, вот Вам перечень толстых журналов, куда я каждую минуту могу и готов адресоваться с Вашими произведениями: «Северный вестник», «Русская мысль», «Русское обозрение», «Труд» и, вероятно еще, «Неделя». Вы грозите, что редакторы никогда не увидят Вас. Это напрасно. Назвавшись груздем, полезай в кузов. Уж коли хотите заниматься всерьез литературой, то идите напролом, ничего же сумняся и не падая духом перед неудачами».

**
**

А. С. Суворину, 6 марта, 1892 года, Мелихово.

«Прочтите рассказ Ежова «Без адреса» в «Сев. вестнике». Парень заметно выписывается. Из него выйдет толк на четыре с минусом».

Этот Ежов после смерти Чехова написал о нем очень дурно. Значит, завидовал всю жизнь... (И. Б.)

Ему же, 11 марта 1892, Мелихово.

«Прочел опять критику Писарева на Пушкина. Ужасно наивно. Человек развенчал Онегина и Татьяну, а Пушкин остается целехонек. Писарев дедушка и папенька всех нынешних критиков, в том числе и Буренина. Та же мелочность в развенчивании, то же холодное и себялюбивое остроумие и та же грубость и неделикатность по отношению к людям».

**

Л. А. Авиловой 19 марта, Мелихово:

...«когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее — это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны».

**

П. В. Быкову, 4 мая 1892, Мелихово.

«Будьте добры, при случае передайте редакции*), что анонс, в котором она величает меня «высоко-талантливым» и заглавие моего рассказа печатает буквами вывесочного размера, — этот анонс произвел на меня самое неприятное впечатление... Я знаю цену рекламе и не против нее, но для литератора скромность и литературные приемы в отношениях к читателю и товарищам составляют самую лучшую и верную рекламу».

*) «Всемирная иллюстрация».

**
*

А. С. Суворину, 27 октября 1892, Мелихово.

...«Читаю «Дневник Башкирцевой». Чепуха, но к концу повеяло чем-то человеческим».

**
*

Ему же 25 ноября 1892, Мелихово.

...«Вы и Григорович находите, что я умен. Да, я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутками вроде идей 60-х годов и т. п. Я не брошусь, как Гаршин, в пролет лестницы, но и не стану обольщать себя надеждами на лучшее будущее. Не я виноват в своей болезни, и не мне лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана не даром...

Ну-с теперь об уме. Григорович думает, что ум может пересилить талант. Байрон был умен, как сто чертей, однако же талант его уцелел. Если мне скажут, что Икс понес чепуху от того, что ум у него пересилил талант, или наоборот, то я скажу: это значит, что у Икса не было ни ума, ни таланта».

**
*

«Мое curriculum vitae, так сказать, Вам известно в главных чертах. Медицина — моя законная жена, литература — незаконная. Обе, конечно, мешают друг другу, но не настолько, чтобы исключать друг друга».

Кончил я университет (Моск.) в 1884 г. В 1888 году получил Пушкинскую премию. В 1890 г. ездил на Сахалин, о котором хочу выпустить целую книгу. Вот и весь мой послужной список. Впрочем, еще одно: в 1891 г. путешествовал по Европе. Холост. Не богат и живу исключительно заработком, чем старее становлюсь, тем меньше и ленивее работаю. Старость уже чувствую. Здоровье неважное... Если бы качество литературной работы вполне зависело от доброй воли автора, то, верьте, мы считали бы хороших писателей десятками и сотнями. Дело не в пантеизме, а в размерах дарования».

**
*

А. С. Суворину, 24 февраля 1893 года. Мелихово.

...«Мне просто больно. Стасов обозвал Жителя клопом; но за что, за что Житель обругал Антокольского? Ведь это не критика, а ненависть, животная, ненасытная злоба. Зачем Скабичевский ругается? Зачем этот тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арестантах? Я не могу, не могу.

. . .

Боже мой! Что за роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть караул кричи. Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, как будто я заразился от него. А конец Базарова? А старички? А Кукшина? Это чорт знает как сделано. Просто гениально... «Накануне» мне нѣ нравится, кроме отца Елены и финала. Финал полон трагизма. Ася мила. «За-тишье» скомкано и не удовлетворяет. «Дым» мне не нравится совсем. «Дворянское гнездо» слабее «Отцов и детей», но финал тоже похож на чудо. Кроме старуш-

ки в Базарове, то есть матери Евгения и вообще матерей, особенно светских барынь, которые все, впрочем, похожи одна на другую (мать Лизы, мать Елены), да матери Лаврецкого, бывшей крепостной, да еще простых баб, все женщины и девицы Тургенева невыносимы своей деланностью и, простите, фальшью. Лиза, Елена — это не русские девицы, а какие-то Пифии, вещающие, изобилующие претензиями не по чину. Ирина в «Дыме», Одинцова в «Отцах и детях», вообще львицы, жгучие, аппетитные, ненасытные, чего-то ищущие — все они чепуха. Как вспомнишь толстовскую Анну Каренину, то все эти тургеневские барыни со своими соблазнительными плечами летят к чорту. Женские отрицательные типы, где Тургенев слегка карикатурит (Кукшина) или шутит (описание балов), нарисованы замечательно и удались ему до такой степени, что, как говорится, комар носа не подточит. Описания природы хороши, но... чувствую, что мы уже отвыкаем от описаний такого рода и что нужно что-то другое».

**
*

А. И. Эртелю, 4 марта 1893 г. Москва.

«Что касается моего участия в литературном вечере, то не тревожьте моего праха. Я читаю отвратительно, но это бы еще куда ни шло. Главное — у меня страх. Есть болезнь «боязнь пространства», так и я болен боязнью публики и публичности. Это глупо и смешно, но непобедимо. Я отродясь не читал и никогда читать не буду. Простите мне эту странность. Когда-то я играл на сцене, но там я прятался в костюме и в грим, и это придавало мне смелость».

**
*

А. С. Суворину, 4 марта 1893 г., Москва.

«Вчера на обеде я познакомился с литератором Эртелем, учредителем воронежских столовых. Впечатление очень хорошее. Умный и добрый человек. Он просил сходить вместе к Толстому, который стал ко мне благоволить особенно, но я отклонил сие предложение, ибо мне некогда, а главное — хочется сходить к Толстому — соло».

**
*

М. О. Меншикову, 1 января 1894, Мелихово.

...«Я у Вас в долгу: я не ответил на Ваше письмо, в котором Вы сообщили о переводе моей «Палаты № 6» на английский язык, я сделал это, то есть не ответил — умышленно. Вы желали получить от меня автобиографию, а для меня это нож острый. Не могу я писать о себе самом».

...«В последней (январской) книжке «Русской мысли» напечатан мой рассказ «Черный монах». Это рассказ медицинский. Трактуются в нем мания величия».

**
*

А. С. Суворину, 15 августа 1894. Мелихово.

...«Иногда бывает: идешь мимо буфета III класса, видишь холодную, давно жареную рыбу и равнодушно думаешь: кому нужна эта не аппетитная рыба? Между тем, несомненно, рыба эта нужна, и ее едят, и есть люди, которые находят ее вкусной. То же самое мож-

но сказать о произведениях Баранцевича. Это буржуазный писатель, пишущий для чистой публики, едущей в III классе. Для этой публики Толстой и Тургенев слишком роскошны, аристократичны, немножко чужды и неудобоваримы. Публика, которая с наслаждением ест солонину с хреном и не признает артишоков и спаржи. Станьте на ее точку зрения, вообразите серый, скучный двор, интеллигентных дам, похожих на кухарок, запах керосинки, скудость интересов и вкусов — и Вы поймете Баранцевича и его читателей. Он не колоритен; это отчасти потому, что жизнь, которую он рисует, не колоритна... Он фальшив («Хорошие книжки»), потому что буржуазные писатели не могут быть не фальшивы. Это усовершенствованные бульварные писатели. Бульварные грешат вместе со своей публикой, а буржуазные лицемерят с ней и льстят ее узенькой добродетели».

Как это верно! (И. Б.).

**
*

А. И. Эртелю, 15 октября 1894, Москва.

...«Кстати я написал Суворину, чтобы он прочел Ваших «Духовидцев» — превосходная вещь. Вы великолепнейший пейзажист, замечу в скобках».

**
*

...«прислушиваясь к разговорам, видишь теперь, до какой степени наивен и суеверен русский интеллигент и как мало у него знаний... он боится иметь собственное мнение и так мало верит себе...»

**
*

А. В. Жиркевичу, 10 марта 1895.

. . . .

...«Стихи — не моя область, их я никогда не писал, мой мозг отказывается удерживать их в памяти, и их, точно так же, музыку, я только чувствую, но сказать определенно, почему я испытываю наслаждение или скуку, я не могу».

**
*

А. С. Суворину, 16 марта 1895, Мелихово:

...«Моя мать, заказывая мяснику мясо, сказала, что нужно мясо получше, так как у нас гостит Лейкин из Петербурга. «Это какой Лейкин? — изумился мясник. — Тот, что книги пишет?» и прислал превосходного мяса. Стало быть, мясник не знает, что я тоже пишу книги, так как для меня он всегда присылает одни только жилы».

**
*

Ему же 13 апреля, Мелихово, 1895 г.

. . . .

...«Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно капитал наживать и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым».

**
*

Ф. О. Шехтелю, 15 февраля 1896 г., Москва.

...«Сегодня вечером мы у Льва Толстого, вернемся от него в 11 часов. Если найдете возможным повидаться с нами после 11, поужинать и проч., то не пожалуйте ли Вы в оный час в «Славянский базар».

**
*

В. Г. Короленко, 19 февраля, 1896 г., Мелихово.

...«На вечер Г. И. Успенского едва ли попаду, так как выбраться из дому теперь мне нелегко и так как, вообще говоря, на вечерах я не читаю. Достаточно мне почитать 3-5 минут, как во рту у меня сохнет, голос сипнет, и я начинаю непрерывно откашливаться.

У Вукола я не праздновал. Проездом через Москву был у Льва Толстого и с удовольствием провел у него часа два».

**
*

Вл. И. Немировичу-Данченко, 26 ноября, 1896 г. Мелихово:

...«Говорить о литературе? Но ведь мы о ней уже говорили. Каждый год одно и то же, одно и то же, и все, что мы обыкновенно говорим о литературе, сводится к тому, кто написал лучше и кто хуже; разговоры же на более общие, более широкие темы никогда не клеятся, потому что, когда кругом тебя тундра и эскимосы, то общие идеи, как неприменимые к настоящему, так же быстро расплываются и ускользают, как мысли о вечном блаженстве. Говорить о своей личной жизни? Да... мы, пожалуй, поговорили бы, но тут уж мы

стесняемся, мы скромны, неискренни, нас удерживает инстинкт самосохранения, и мы боимся. Мы боимся, что во время нашего разговора нас подслушает какой-нибудь некультурный эскимос, который нас не любит и которого мы тоже не любим... Я боюсь нашей морали, боюсь наших дам...»

**
*

Ф. Д. Батюшкову, 15 декабря, 1897 г., Ницца.

. . . .

«Вы выразили желание в одном из Ваших писем, чтобы я прислал интернациональный рассказ, взявши сюжетом что-нибудь из местной жизни. Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям, и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно и типично».

**
*

1898

...«Золя все-таки прав*), так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступить даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание. Скажут: а политика? интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров, жандармов и без

*) Дело Дрейфуса.

них много и во всяком случае роль Павла им больше к лицу, чем Савла».

**
*

И. И. Горбунову-Посадову, 9 ноября 1898 г., Ялта.

• • •
«В своей жизни я ни одного человека не уважал так глубоко, можно даже сказать, беззаветно, как Льва Николаевича».

**
*

А. М. Пешкову (М. Горькому), 3 января 1899 г., Ялта.

...«нет сдержанности, нет грации. Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация. В Ваших же затратах чувствуется излишество».

...«частое уподобление человеку (антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и т. п. — такие уподобления делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными; красочность и выразительность в описании природы достигаются только простотой, такими простыми фразами, как «зашло солнце», «стало темно», «пошел дождь» и т. д.»

...«Рассказ Чирикова наивен и фальшив, рассказ Вересаева — это грубая подделка под что-то... грубая и тоже наивная. На таких рассказах далеко не уедешь. В Вашем «Кириллке» все портит фигура земского на-

чальника... Не изображайте никогда земских начальников. Нет ничего легче, как изображать несимпатичное начальство, читатель любит это, но это самый неприятный, самый бездарный читатель. К фигурам новейшей формации, как земский начальник, я питаю такое же отвращение, как к «флирту» — и потому, быть может, я не прав. Но я живу в деревне, я знаком со всеми земскими начальниками своего и соседних уездов, знаком давно и нахожу, что их фигуры и их деятельность совсем нетипичны, вовсе неинтересны, — в этом, мне кажется, я прав.

**
*

«Я мирюсь в описании с «коллежским ассессором» и с «капитаном второго ранга», но «флирт» и «чемпион» возбуждают (когда они в описании) во мне отвращение».

**
*

«Вересаев талантлив, но груб — и, кажется, умышленно. Груб зря, без надобности. Но, конечно, он гораздо талантливее и интереснее Чирикова».

**
*

В. Ф. Коммиссаржевской, 19 января 1899 г., Ялта.
...«Вы задали мне неразрешимую задачу. Во-первых, я во всю жизнь мою никогда не писал рецензий, для меня это китайская грамота, во-вторых, я не пишу

в «Новом времени». Кстати сказать, в «Новом времени» я не работаю уже давно, с 1891 года».

**
*

М. П. Чеховой, 20 января 1899 г., Ялта.

«Иван, вероятно, уже говорил тебе о моих переговорах с Марксом.

...Во 1-х, произведения мои будут издаваться образцово. Во-вторых, я не буду знаться с типографией, и с книжными магазинами, меня не будут обкрадывать и не будут делать мне одолжений».

**
*

И. А. Леонтьеву (Щеглову), 20 января 1899 г., Ялта.

...«Я далек от того, чтобы восторгаться современностью, но ведь надо быть объективным, насколько возможно справедливым. Если теперь нехорошо, если настоящее несимпатично, то прошлое было просто гадко».

**
*

Суворину, 6 февраля 1899 г., Ялта.

«Часто выдаюсь с академиком Кондаковым, говорим об учреждении отделения изящной словесности. Он радуется, я же это отделение почитаю совершенно лишним. Оттого, что Случевский, Григорович, Голенищев-Кутузов и Потехин станут академиками, произведения русских писателей и вообще литературная деятельность в России не станут интереснее. Применяется только неприятный и всегда подозрительный элемент — жалованье. Впрочем, поживем увидим».

**
*

Л. А. Авиловой, 18 февраля 1899 г., Ялта.

...«Беллетрист Иван Щеглов называет меня Потемкиным и тоже восхваляет меня за умение жить. Если я Потемкин, то зачем же я в Ялте, зачем здесь так ужасно скучно. Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу.

Вы очень добры. Я говорил уж это тысячу раз и теперь опять повторяю».

**

Орлову И. И., 22 февраля 1899 г., Ялта.

...«Ялта зимой — это марка, которую не всякий выдержит: скука, сплетни, интриги и самая бесстыдная клевета».

«На Ваше сетование относительно гувернера и всяких неудач я отвечу тоже текстом: не надейся на князи и сыны человеческие... Не гувернер, а вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора, дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский — это питомцы университетов, это наши профессора; отнюдь не бурбоны, а профессора, светила... Я не поверю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выйдут из ее недр. Я верую в отдельных людей, я вижу

спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д. и т. д. — и все это делается помимо прокуров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse и несмотря ни на что».

**
**

Л. А. Авиловой, 9 марта 1899 г., Ялта.

...«Горький мне нравится, но в последнее время он стал писать чепуху, чепуху возмутительную, так что я скоро брошу его читать. ...Короленко чудесный писатель. Его любят — и недаром. Кроме всего прочего в нем есть трезвость и чистота.

Вы спрашиваете, жалко ли мне Суворина. Конечно, жалко. Его ошибки достаются ему недешево. Но тех, кто окружает его, мне совсем не жалко».

Ей же, 23 марта 1899 г., Ялта.

«С Сергеевко я учился в гимназии, и, мне кажется, я знаю его хорошо. Это по натуре веселый, смешливый человек, юморист, комик: таким он был до 30-35 лет, печатал в «Стрекозе» стихи (Эмиль Пуп), неистово шутил и в жизни и в письмах, но как-то вдруг вообразил себя большим писателем — и все пропало. Писателем он не стал и не станет, но среди писателей уже занял определенное положение: он гробокопатель».

...«Деньги мои, как дикие птенцы, улетают от меня, и через года два придется поступить в философы».

«Я Толстого знаю, кажется, хорошо знаю, и понимаю каждое движение его бровей, но все же я люблю его».

«В Ялте Горький. По внешности это босяк, но внутри это довольно изящный человек — и я очень рад. Хочу знакомить его с женщинами, находя это полезным для него, но он топорщится».

**
*

М. О. Меньшикову, 4 июня 1899 г., Мелихово.

«В пушкинских праздниках я не участвовал. Во-первых нет фрака и, во-вторых, я очень боюсь речей. Как только кто за юбилейным обедом начнет говорить речь, я становлюсь несчастным, и меня тянет под стол. В этих речах, особенно московских, много сознательной лжи. ...И говорили, конечно, не литераторы, а одни только промышленники (литературные прасолы). Из всех, кого я в то время встречал в Москве, симпатичным показался только один Гольцев».

**
*

А. М. Пешкову (М. Горькому), 22 июня 1899 г., Москва.

«Зачем Вы все хандрите, драгоценный Алексей Максимович? Зачем Вы браните неистово своего «Фому Гордеева»? Тут мне кажется, кроме всего прочего, с Вашего позволения, две причины. Вы начали с успеха, начали умно, и теперь все, что представляется Вам обидным и заурядным, не удовлетворяет, томит Вас. Это раз. Во-вторых, литературу нельзя безнаказанно проживать в провинции. Что бы Вы

там ни говорили, Вы вкусили от литературы, Вы отравлены уже безнадежно, Вы литератор, литератором и останетесь. Единственное же состояние литератора — это всегда держаться близко к литературным сферам, жить возле пишущих, дышать литературой. Не боритесь же с естеством, покоритесь раз навсегда и переезжайте в Петербург или Москву. Бранитесь с литераторами, не признавайте их, половину из них презирайте, но живите с ними».

Ему же, 27 июня, 1899 г., Москва.

«Вы будете путешествовать пешком по России? Добрый путь, скатертью дорожка, хотя мне кажется, что Вам, пока Вы еще молоды и здоровы, следовало бы года два-три попутешествовать не пешком и не в III классе и поближе приглядеться к публике, которая Вас читает. А потом, через 2-3 года, можно и пешком».

**

О. Л. Книппер, 4 октября 1899 г., Ялта.

...«Искусство, особенно сцена — это область, где нельзя ходить, не спотыкаясь. Впереди еще много и неудачных дней, и целых неудачных сезонов, будут и большие недоразумения, и широкие разочарования — ко всему этому надо быть готовым, надо этого ждать и, несмотря ни на что, упрямо, фанатически гнуть свою линию».

**

Г. И. Россолимо, 11 октября 1899 г., Ялта.

...«занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они

значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избежать многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно, предпочитал не писать вовсе. ..К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу; и к тем, кто до всего доходят своим умом, не хотел бы принадлежать».

«Что касается практической медицины, то еще студентом я работал в Воскресенской земской больнице (близ Нового Иерусалима), у известного земского врача П. А. Архангельского, потом недолго был врачом в Звенигородской больнице. В холерные годы (92, 93) заведывал Мелиховским участком Серпуховского уезда».

**
*

Россолимо, 21 января 1900 г., Ялта.

...«Писать для детей вообще не умею, пишу для них раз в десять лет и так называемой детской литературы не люблю и не признаю. Детям надо давать только то, что годится и для взрослых. Андерсен, Фрегат Паллада, Гоголь читаются охотно детьми, взрослыми также. Надо не писать для детей, а уметь выбирать из того, что уже написано для взрослых, т. е. из настоящих художественных произведений...»

**
*

М. О. Меньшикову, 28 января 1900 г., Ялта.

...«Болезнь напугала меня и держала в напряжении. Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не любил так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться».

**
*

В. А. Поссе, 29 февраля 1900 г., Ялта.

«Фома Гордеев» написан односторонне, как диссертация. Все действующие лица говорят одинаково: и способ мыслить у них одинаковый. Все говорят не просто, а нарочно; у всех какая-то задняя мысль; что-то не договаривают, как будто что-то знают; на самом же деле они ничего не знают, а это у них такой *façon de parler* — говорить и не договаривать».

**
*

Советы Н. М. Ежову, Петербург, 23 января 1890 г.

...«Читайте побольше, Вам нужно поработать над своим языком, который грешит грубоватостью и вычурностью — другими словами, Вам надо воспитать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к гравюрам, хорошей музыке и т. п. Читайте больше серьезных книг, где язык строже и дисциплинированнее, чем в беллетристике. Кстати и запасетесь и знаниями, которые не лишни для писателя».

**
*

13 февраля 1902 г., Ялта.

«Читаю Тургенева. После этого писателя останется 1/8 или 1/10 из того, что он написал, все же остальное через 25-35 лет уйдет в архив»...

**
*

Об Андрееве, 29 июля 1902 г., Любимовка. А. М. Пешкову-Горькому:

«Мысль» Л. Андреева — это нечто претенциозное, неудобопонятное и, повидимому, ненужное, но талантливо исполненное. В Андрееве нет простоты, и талант его напоминает пение искусственного соловья».

**
*

О. Л. Книппер, 16 сентября 1902 г., Ялта.

...«Для чего тебе нужно, чтобы я вышел в Америке? Да еще в дамском, очень плохом переводе?»

Ей же, 17 декабря, Ялта.

«Если не хочешь ходить в кружок и к Телешовым, то и не ходи, дуся. Телешов милый человек...; вообще с ними со всеми, имеющими прикосновение к литературе, скучно, за исключением очень немногих. О том, как отстала и как постарела вся наша московская литература, и старая, и молодая, ты увидишь потом... этак годика через два-три».

**

С. П. Дягилеву, 30 декабря 1902 г., Ялта.

«Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. ...Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога, т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы».

**

О. Л. Книппер, 16 февраля 1903 г., Ялта.

«...«говорю тебе искренно, с каким удовольствием я перестал бы быть в настоящее время писателем!»

**

Ей же, 23 февраля 1903 г., Ялта.

...«Барышням, едущим учиться за границу, надо говорить: 1) кончайте сначала в России, а потом поезжайте за границу для усовершенствования, если посвятите себя научной деятельности; наши женские учебные заведения, например, медицинские курсы, превосходны, 2) знаете ли вы иностранные языки, 3) евреи уезжают учиться за границу по необходимости, ибо они стеснены, а вы зачем едете?»

Вообще нужно отчитывать сих барышень. Очень многие едут за границу только потому, что не умеют учиться».

**

Ей же, 17 апреля 1903 г., Ялта.

...«Старики наши ненавистничают, это нехорошо. А Минский лжив и ломака».

**

Дягилеву С. П., 12 июля 1903 г.

...«как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего. Я уважаю Д. С. и ценю его и как человека и как литературного деятеля, но ведь воз-то мы, если и повезем, то в разные стороны».

**

О. Л. Книппер, 25 марта 1904 г.

...«Вчера вечером был Леонид Андреев, ворчал на Художественный театр, на Юлия Цезаря и проч., была и его похудевшая, постаревшая жена. Скучновато».

**
*

«Я уже знал, что Чехов очень болен, — пишет Телешов, — вернее, очень плох, и решил занести ему только прощальную записку, чтоб не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.

Хотя и я был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

А он протягивает слабую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать».

**
*

«— Умирать еду, — настоятельно говорит он. — Поклонитесь от меня товарищам вашим по «Среде». Скажите им, что их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше мы уж не встретимся.

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте».

**
*

«Ни одна наша смертная мерка не годится для суждения о небытии, о том, что не есть человек», — писал Чехов.

**
*

В записных книжках последнего периода жизни Чехова имеются две находящиеся рядом заметки:

«Вера есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и неразвитых людей — страх и сомнения. Она доступна только высоким организациям».

«Смерть страшна, но еще страшнее было бы сознание, что будешь жить вечно и никогда не умрешь».

IV

Был у него период жизни необыкновенный. Прав М. П. Чехов, — в эти годы он переживал (судя по письмам) высокий душевный подъем. (Да, но болезнь уже сказывалась).

В письме Лейкину от 28 декабря 1885 г. Москва.
 ...«Вообще воспеваю весь Петербург. Милый город, хотя бранят его в Москве... Все мое петербургское житие состояло в сплошных приятностях, и не мудрено, что я видел все в розовом свете. Даже Петропавловка мне понравилась. Путаница в голове неосветимая: Невский, старообряд. церковь, диван, где я спал, Ваш стол, Билибин, Федя, толстый метранпаж, полотенца на стенах, борода Тимофея, перинка для Рагульки и Апеля, Сенной рынок, Лейферт».

**
*

«А ты знаешь, что такое талант? — спрашивает в «Дяде Ване» Елена Андреевна Союю. — Смелость, свободная голова, широкий размах...»

**
*

...«А главное просторно до такой степени, что мне кажется, за свои сто рублей я получил право жить на пространстве, которому не видно конца». (1888 г.).

**

...«притягивающая к себе жизненность его произведений состоит в том, что в них ничто не «излагается», не «объясняется», а показывается. «Психическое» никогда не обособляется от «физического». (Бицилли).

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.).

«Русская критика, — справедливо писал Бицилли, — объявила Чехова «писателем без мировоззрения», и ее представители задавались вопросом: как же это возможно, что, будучи «без мировоззрения», он все-таки был весьма значительным писателем? В сущности вопрос этот беспредметен, бессмыслен, и возник он единственно в силу упрощения, опошления самого термина мирозерцание и выражаемого им понятия. Под мирозерцанием принято разуметь не то, что это слово буквально значит, а известную идеологию и связанную с ней «программу». Э того у Чехова, действительно, не было... ему претило то, что в такой степени свойственно людям, этого рода мирозерцанием обладающим: узкая, злобная нетерпимость по отношению к инаковерующим и тупое самодовольство. Мирозерцание, так понимаемое, было вразрез с подлинным мирозерцанием, т. е. видением мира и жизни, какими был одарен Чехов».

Верно!

**

Левитан Исаак Ильич (1861-1900) был психически нездоров. А. П. любил его. В 1885 году летом они жили поблизости от Воскресенска: Чеховы в Бабкине,

а Левитан — в Максимовке. Рыбная ловля, охота. Левитан почти поправился.

Чехов носил летом рубашку красного цвета.

**
*

Чехов был связан с Чайковским и Рахманиновым.

**
*

«Хмурые люди» посвящены Петру Ильичу Чайковскому.

Музыка Чайковского — надо просмотреть письма, рассказы «После театра», «Рассказ неизвестного человека», «Три года» гл. X.

**
*

Чайковский Модест Ильич, брат композитора, был большим поклонником Чехова. Но обратил его внимание на Чехова Петр Ильич.

Я был знаком с Модестом Ильичем. Встречался с ним на Капри. Познакомился у Горького. Очень был приятный человек, хорошо воспитанный и привлекательный.

**
*

В библиотеке Чехова хранится «Фантазия для оркестра» Рахманинова. Надпись такова: ...«автору рассказа «На пути», содержание которого с тем же эпиграфом, служило программой этому музыкальному произведению. 9 ноября 1898 г.»

«На пути» впервые напечатано 25 декабря 1888 г.
Писал 3 недели.

**
*

Шуточное письмо М. В. Киселевой, 21 сентября 1886, Москва:

...«Впрочем, писательство имеет и свои хорошие стороны. Во-первых, по последним известиям, книга моя идет недурно; во-вторых, в октябре у меня будут деньги; в-третьих, я уже понемножку начинаю пожинать лавры: на меня в буфетах тычут пальцами, за мной чуточку ухаживают и угощают бутербродами. Корш поймал меня в своем театре и первым делом вручил мне сезонный билет... Портной Белоусов*) купил мою книгу, читает ее дома вслух и пророчит мне блестящую будущность. Коллеги доктора при встречах вздыхают, заводят речь о литературе и уверяют, что им опостылила медицина и т. д.

Едва я кончил письмо, как звякнул звонок... я увидел гениального Левитана. Жульническая шапочка, франтовской костюм, истощенный вид... Был он два раза на «Аиде», раз на «Русалке», заказал рамы, почти продал этюды... Говорит, что тоска, тоска, тоска...»

**
*

Ей же, 29 сентября 1886, Москва.

«Николай у меня. Он серьезно болен, желудочное кровотечение... Вчера он меня испугал не на шутку.

Всем скверно живется. Когда я бываю серьезен, то мне кажется, что люди, питающие отвращение к

*) Поэт и переводчик Шевченко Белоусов.

смерти, не логичны. Насколько я понимаю порядок вещей, жизнь состоит только из ужасов, дрызг и пошлостей, мешающихся и чередующихся».

**
*

1887

Москва, переутомление. Внешне он приучил себя держаться хорошо, откровенен с немногими.

Ал. П. Чехову, 26 января.

...«Я болен. Живется скучно, а писать начинаю скверно, ибо устал».

**
*

Ф. О. Шехтелю, между 11 и 14 марта, Петербург:

...«Нервы расстроены ужасно, так что пульс мой бьет с перебоями...»

...Впрочем, есть и просьба: не забудьте похлопотать о бесплатном проезде в Таганрог и обратно. Сделайте так, чтобы на обратном билете не выставляли числа. Как бы там ни было, хоть землетрясение, а я уеду, ибо долее мои нервы не выдержат.

Я хочу уехать на юг не позже 31 марта. Поеду с рублем, но всё-таки поеду».

**
*

2 апреля он и уехал на юг, сначала в Таганрог, остановился у дяди Митрофана Егоровича. Пишет се-

мье письма-дневники, очень подробные: «Дом Селиванова пуст и заброшен» (прежний дом Чехова И. Б.). Попал же он в Таганрог через 8 лет после своего отъезда: «Глядеть на него (на старый дом) скучно, а иметь его я не согласился бы ни за какие деньги. Дивлюсь, как это мы могли жить в нем?!»

Пасхальная неделя в Таганроге. Ездил на свадьбу шаферствовать в Новороссийск. Ездил к знакомым в окрестности Таганрога («Донская Швейцария»), гостил у Кравцовых. 5 мая поехал в Славянск, оттуда в Святые горы. Из Святых гор опять в Таганрог.

Из Таганрога уехал 15 мая. 17 мая — Москва. Поездка заняла полтора месяца.

**

Последнее радостное лето. Письма еще молодые. В них много подлинной поэзии.

Г. М. Чехову, 1 апреля 1888, Москва.

...«В своих поисках дачи я имел единственной целью — доставить удовольствие моей мамаше, отцу, сестре, вообще всей семье, которая заметно тоскует по юге. Я старался найти такое место, где удобства жизни, необходимые для стариков, были бы на первом плане: покой, тишина, близость церкви, изобилие тени и проч. И чтобы рядом с этим и молодежь не оставалась при пиковом интересе. А для молодежи нужны: красивая природа, изобилие воды, лес и проч., для меня же лично, кроме того, необходима близость почты и люди, которых я мог бы на досуге лечить».

(Подчеркнуто мною. И. Б.)

**

И. Л. Леонтьеву (Щеглову), 10 мая, Сумы.

...«Я уже не литератор и не Эгмонт. Я сижу у открытого окна и слушаю, как в старом, заброшенном саду кричат соловьи, кукушка и удоны. Мне слышно, как мимо нашей двери проезжают к реке хохлята верхом на лошадях и как ржут жеребята. Солнце печет...

...Река широкая, глубокая, с островами... Один берег высокий, крутой, обросший дубами и вербой, другой отлогий».

**
*

Чеховы жили в имении Линтваревых, во флигеле, усадьба близ г. Сум на высоком берегу Псела (притока Днепра), который широк, глубок, с островами, рыбы много.

**
*

Н. А. Лейкину, 11 мая, Сумы.

...«Народ все сытый, веселый, разговорчивый, остроумный. Мужики здесь не продают ни масла, ни молока, ни яиц, а едят все сами — признак хороший. Нищих нет. Пьяных я еще не видел, а матерщина слышится очень редко, да и то в форме более или менее художественной».

**
*

А. С. Суворину, 30 мая, Сумы.

...«А главное просторно до такой степени, что мне кажется, за свои сто рублей я получил право жить на пространстве, которому не видно конца. Природа и

жизнь построены по тому самому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях: не говоря уж о соловьях, которые поют день и ночь, о лае собак, который слышится издали, о старых запущенных садах, о забытых наглухо, очень поэтичных и грустных усадьбах... недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница (16 колес) с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна и, повидимому, чего-то ждет. Все, что я теперь вижу и слышу, мне кажется, давно уже знакомо мне по старинным повестям».

**
*

Н. А. Лейкину, 21 июня, Сумы.

...«Был я в Лебедине, в Галиче, в Сорочинцах и во многих прославленных Гоголем местах. Что за места!... Проехал я 400 верст, ночевал в десяти местах... Кроме природы, довольство, народное здоровье, высокая степень развития здешнего мужика, который и умен, и религиозен, и сыт. Об антагонизме между пейзажами и панями нет и помину».

. . .

**
*

Лазареву-Грузинскому, 26 июня, Сумы.

..«Всё, что я видел, слышал, так пленительно и ново... *Тихие, благоухающие от свежего сена ночи, звуки далекой, далекой хохлацкой скрипки, вечерний блеск рек и прудов, хохлы, девки* — все это так же широколиственно, как хохлацкая зелень и поместиться в коротком письме не сумеет». (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**

А. С. Суворину, 28 июня, Сумы.

...«Был в Миргородском уезде, в Сорочинцах, видел отличных людей и природу, которой раньше никогда не видел, слышал много нового.

...Когда по целым неделям не видишь ничего, кроме деревьев и реки, когда то и дело прячешься от грозы или обороняешься от злых собак, то поневоле, как бы ни был умен, приобретаешь новые привычки, а всё новое производит в организме реакцию более резкую, чем рецепты Бертенсона».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**

А. Н. Плещееву, Сумы.

...«Ах, если бы Вы были вместе с нами и видели нашего сердитого ямщика Романа, на которого нельзя было глядеть без смеха, если бы Вы видели места, где мы ночевали, восьми и десятиверстные села, которыми мы проезжали, если бы пили с нами поганую водку, от которой отрыгается, как после сельтерской воды! *Какие свадьбы попадались нам на пути, какая чудесная музыка слышалась в вечерней тишине и как густо пахло свежим сеном! То есть душу можно отдать нечистому за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речки и лужицы, отражающие в себе томный, грустный закат...*

...«В той комнате, где я спал, между окном и ставней соловей свил себе гнездо, и при мне вывелись из яиц маленькие соловейчики».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

А. С. Суворину, 29 августа, Сумы.

...«Попал я туда как раз на молотьбу. Урожай великолепный... а рожь так тяжела, что при мне в один день шестисильная паровая молотилка намолотила 1200 пудов, и рабочие изнемогли, до такой степени тяжелы снопы! Работа утомительная, но веселая, как хороший бал. В детстве, живя у дедушки в имении гр. Платова, я по целым дням от зари до зари должен был просиживать около паровика и записывать пуды и фунты вымолоченного зерна; свистки, шипенье и басовой волчкообразный звук, который издается паровиком в разгар работы, скрип колес, ленивая походка волов, облака пыли, черные потные лица полсотни человек — все это врезалось в память, как «Отче Наш». И теперь я целые дни проводил на молотьбе и чувствовал себя в высшей степени хорошо. Паровик, когда он работает, кажется живым; выражение у него хитрое, игривое; люди же и волы кажутся наоборот машинами». (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

О б о л е з н и

А. С. Суворину, 14 октября 1888 г. Москва.

...«Сначала о кровохарканьи... Впервые заметил его у себя 3 года (а не 4. И. Б.) тому назад в Окружном суде: продолжалось оно дня 3-4 и произвело не малый переполох в моей душе и моей квартире. Кровь текла из правого легкого. После этого я раза два в год замечал у себя кровь, то обильно текущую, то есть густо красящую каждый плевок, то не обильно... Третьего дня или днем раньше — не помню, я заметил

у себя кровь, была она и вчера, сегодня ее уже нет. Каждую зиму, осень, весну и в каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: *в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве. Когда же нет крови, я не волнуюсь и не угрожаю русской литературе «еще одной потерей».* (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

А. С. Суворину, 8 июня 1889 г. Сумы.

...«Когда я один мне почему-то становится страшно, точно я среди великого океана солистом плыву на углой ладье». (Подчеркнутой мною. Ив. Б.)

**
*

Смерть брата. Перелом.

Ф. О. Шехтелю, 18 июня 1889. Сумы.

«Вчера, 17 июня умер от чахотки Николай. Лежит теперь в гробу с прекрасным выражением лица. Царство небесное, а Вам, его другу, здоровья и счастья. Ваш А. Чехов». (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

М. М. Дюковскому, 24 июня 1889, Сумы.

...«в последние недели Николай не жил, а страдал: спал сидя, не переставая кашлял, задыхался и проч. Если в прошлом были какие вины, то все они сторичей искупились этими страданиями... За неделю до смерти он приобщился. Умер в полном сознании.

...По южному обычаю, несли его в церковь и из церкви на кладбище на руках, без факельщиков и без мрачной колесницы, с хоругвями, в открытом гробе. Крышку несли девушки, а гроб мы. В церкви, пока несли, звонили. Погребли на деревенском кладбище, очень уютном, тихом, где постоянно поют птицы и пахнет медовой травой. Поставили крест, который виден далеко с поля.
(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

А. Н. Плещееву, 26 июня 1889 г. Сумы.

...«Нельзя было сказать, когда умрет Николай, но что он умрет скоро, для меня было ясно... Гостил у меня Свободин. Воспользовавшись приездом старшего брата,... я захотел отдохнуть, дней пять подышать другим воздухом;... во всю жизнь не забыть мне ни грязной дороги, ни серого неба, ни слез на деревьях, говорю — не забыть, потому что утром приехал из Миргорода мужичонко и привез мокрую телеграмму: «Коля скончался»...

**
*

Дома я застал горе. Наша семья еще не знала смерти, и гроб пришлось видеть у себя впервые. (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

А. С. Суворину, 2 июля 1889, Сумы:

...«Николай умер. Я поглупел и потускнел. Скука адская, поэзии в жизни ни на грош, желанья отсутствуют и проч. проч.»

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

И. П. Чехову, 16 июля 1889 г., пароход «Олег».
Одесса.

...«У меня нет ни желаний, ни намерений, а потому нет и определенных планов. Могу хоть в Ахтырку ехать, мне все равно».

**
*

М. П. Чеховой, 18 июля 1889, Ялта.

...«возможно, что я уеду отсюда завтра или после завтра. Уеду в Сумы, а из Сум в Москву, не дожидаясь сентября. Лето мне опротивело... К сожалению, у меня много знакомых. Редко остаюсь один. Приходится слушать всякий умный вздор и отвечать долго. Шляются ко мне студенты и приносят для прочтения свои увесистые рукописи. Одолели стихи... Все претенциозно, умно, благородно и бездарно.

...Денег не жалейте, чорт с ними».
(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

Н. А. Лейкину

...«Последние дни Николая, его страдания и похороны произвели на меня и на всю семью удручающее впечатление. На душе было так скверно, что опротивели и лето, и дача, и Псел. Единственное развлечение были только письма добрых людей. ...Конечно, письма пустое дело, но когда читаешь их, то не чувствуешь себя одиноким, а чувство одиночества самое паршивое и нудное чувство.

После похорон возил я всю семью в Ахтырку, потом неделю пожил дома».

**
*

1900

Ялта - Москва

**
*

А. М. Пешкову (М. Горькому), 3 февраля, Ялта.

. . .

...«мне так обидно, что мне уже 40, что у меня одышка и всякая дрянь, мешающая жить свободно...»

**
*

О. Л. Книппер, 10 февраля, Ялта.

. . .

«Я оторван от почвы, не живу полной жизнью, не пью, хотя люблю выпить; я люблю шум и не слышу его, одним словом, я переживаю теперь состояние пересаженного дерева, которое находится в колебании: приняться ему, или начать сохнуть».

**
*

А. С. Суворину, 12 февраля, Ялта.

...«Когда Ваша героиня состарится, не придя ни к чему и ничего не решив для себя, и увидит, что всеми она покинута, неинтересна, не нужна, когда поймет,

что окружавшие ее люди были праздные, ненужные, дурные люди (отец — тоже) и что она проморгала жизнь, — разве это не страшнее нигилистов?»

...«кроме действующего права, кроме уложений и юридических определений, существует еще нравственное право, которое всегда идет впереди действующего и определяет наши поступки, именно когда мы хотим действовать по совести...»

**
*

А. М. Пешкову (М. Горькому), 15 февраля, Ялта.

. . .

...«Так не хотите в Индию? Напрасно. Когда в прошлом есть Индия, долгое плавание, то во время бессонницы есть о чем вспомнить».

**
*

А. С. Суворину, 10 марта, Ялта.

. . .

«Как много здесь чахоточных! Какая беднота и как беспокойно с ними. Тяжелых больных не принимают здесь ни в гостиницы, ни на квартиры, можете себе представить, какие истории приходится наблюдать здесь. Мрут люди от истощения, от обстановки, от полного заброса — это в благословенной Тавриде. Потеряешь всякий аппетит и к солнцу, и к морю».

**
*

О. Л. Книппер, 30 августа, Ялта.

. . .

«Ах, как мне мешают, если бы ты только знала!!!
Не принимать людей я не могу, это не в моих силах».

**
*

А. М. Пешкову (Горькому), 16 октября, Ялта.

. . .

...«Ужасно трудно было писать «Трех сестер». Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочери! Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми, среда — военные, артиллерия».

**
*

А. С. Суворину, 16 ноября, Москва, Тверская,
«Дрезден».

. . .

«Вы слышали, что я женюсь? Это неправда. Я уезжаю в Африку, к крокодилам».

**
*

1890

Уже в январе 1890 года Чехов наметил маршрут на Сахалин: река Кама, Пермь, Тюмень, Томск, Иркутск, Амур, Сахалин, Япония, Китай, Коломбо, Порт-Саид, Константинополь и Одесса. Этот маршрут он

сообщает младшему брату Михаилу. Намечает выехать из Москвы в начале апреля.

**
*

Н. М. Линтваревой, 5 марта, Москва.

• • •
«Что касается меня, то я тоже кашляю, но жив и, кажется, здоров. Этим летом у Вас не буду, так как в апреле *по своим надобностям* (Курсив мой. И. Б.) уезжаю на остров Сахалин, откуда вернусь в декабре. Туда еду через Сибирь (11 тысяч верст)» (11 т. верст! И. Б.) «Миша, кажется, писал Вам, что меня будто кто-то командирует туда, но это вздор. Я сам себя командирую, на собственный счет. На Сахалине много медведей и беглых, так что в случае, если мною пообедают господа звери или зарежет какой-нибудь бродяга, попрошу не поминать лихом».

**
*

«Я в самом деле еду на о. Сахалин, но не ради одних только арестантов, а так вообще. Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора».

**
*

1891

Суворину 8 сентября, Москва.

«Смерть подбирает людей понемножку. Знает свое дело»...

Ему же: 16 октября.

«От утра до ночи я неприятно раздражен, чувствую, как будто кто по душе водит тупым ножом, а внешним образом это раздражение выражается тем, что я спешу пораньше ложиться спать и избегаю разговоров. Все у меня не удается, все глупо валится из рук. Начал я рассказ для Сборника, написал половину и бросил, потом другой начал; бьюсь с этим рассказом уже больше недели, и время, когда кончу его и когда напишу и кончу тот рассказ, за который получу деньги, представляется мне отдаленным...»

• • •
«Если увидите брата, то сообщите ему, что тет-ка умирает от чахотки. Дни сочтены. Славная была женщина. Святая».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**

Е. П. Егорову, 11 декабря (во время голода. И. Б.):

...«Одним словом, частная инициатива была подрезана в самом начале. Все повесили носы, пали духом; кто озлился, а кто просто омыл руки. Надо иметь смелость и авторитет Толстого, чтобы идти наперекор всяким запрещениям и настроениям и делать то, что велит долг». (Подчеркнуто мною. Ив. Б.).

Из этого же письма:

...«Я поехал на Сахалин, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, и однако же сделал там все, что мне нужно; отчего же я не могу поехать в голодающие губернии?»

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

• • •
«Что же касается самих корреспондентов, то ведь это горожане, знающие деревню

только по Глебу Успенскому. Положение их фальшиво в высшей степени. Прилети в волость, понюхай, пиши и лети дальше. У него ни материальных средств, ни свободы, ни авторитета. За 200 целковых в месяц он скачет, скачет и молит Бога только о том, чтобы на него не сердились за его невольное и неизбежное вранье...»

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

А. С. Суворину, 13 декабря.

...«Ей Богу, никакого нет нервного века. Как жили люди, так и живут, и ничем теперешние нервы не хуже нервов Авраама, Исаака и Иакова.»

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

И. А. Леонтьеву (Щеглову), 15 декабря.

«Милый Жан, я буду у Вас на именинах, хотя и запретил себе какое-либо участие в шумных пиршествах. Инфлуэнца с кашлем произвели в моем организме пертурбацию: я теперь ничего не пью. А если случается, пью перед праздником, то чувствую, что это для меня вредно — раньше никогда не чувствовал ничего подобного. Старость, значит!»

И это в 31 год! А как он веселился, когда в Москве его «чествовали как Авелана» — морского министра, которого ввиду франко-русских симпатий чествовали то в России, то во Франции, когда он жил «в непрерывном чаду».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

«Счастье и радость жизни не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь всё равно не даст тебе опьяниться и быть счастливым, а то и дело будет огорашивать тебя ударами» (из записной книжки Чехова). (Подчеркнуто мною. И. Б.)

**
*

По предложению Анучина 21 декабря 1891 г. Чехов был избран членом Географического отделения Общества любителей естествознания, председателем которого был Анучин.

**
*

«Ах, подруженьки, как скучно! — восклицает он в одном письме 1891 года. — Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке. *Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах, без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь...*»

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

1892

Н. М. Ежову, 2 января, Петербург:

...«Вчера я гулял на юбилее «Петербургской газеты». Худяков вручил мне два именных жетона (к сожалению серебряных) для передачи Вам и А. Грузинскому».

**
*

В этот день была вторая встреча с Л. А. Авиловой.

**
*

А. С. Суворину, 22 января.

... «голод по газетам не преувеличен. Дела плохи. Правительство ведет себя недурно, помогает, как может, земство или не умеет или фальшивит, частная же благотворительность равна почти нулю. При мне на 20 тысяч человек было прислано из Петербурга 54 пуда сухарей». (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

Е. П. Егорову, 26 января, Москва.

«Можете себе представить, я приехал домой совсем больным. Жестокая боль в обеих лопатках, между лопатками и мышцами груди. Должно быть, простудился в Нижнем. Не могу ни сидеть согнувшись, ни писать, ни надевать сапоги. Просто беда».

**
*

А. С. Суворину, 6 апреля, Мелихово.

«У нас Пасха. Церковь есть, но нет причта. Собрали со всего прихода 11 рублей и наняли иеромонаха на Давыдовской пустыни, который начал служить с пят-

ницы. Церковь ветхая, холодная, окна с решетками, плащаница — это доска в полтора аршина длиною с тусклым изображением. *Пасхальную утреню пели мы, то есть моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так торжественно. Вчера во весь день сияло солнце; было тепло. Утром я пошел в поле, с которого уже сошел снег, и пол часа провел в отличном настроении: изумительно хорошо! Озимь уже зеленая, а в лесу — травка».*

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

Ему же, 8 апреля.

...«Вы говорите, что я был моложе. Да, представьте! Как это ни странно, мне уже давно перевалило за тридцать (всего 2 года тому назад. И. Б.), а я уже чувствую близость 40. Постарел я не только телесно, но и душевно. Я как то глупо оравнодушел ко всему на свете и почему-то начало этого оравнодушения совпало с поездкой за границу. Я встаю с постели и ложусь с таким чувством, как будто у меня иссяк интерес к жизни. Это или болезнь, именуемая в газетах переутомлением или же неуловимая сознанием душевная работа, именуемая в романах душевным переворотом; если последнее, то все, значит, к лучшему».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**

А. С. Суворину, 28 мая 1892, Мелихово:

...«Мне ужасно, ужасно хочется парохода и вообще воли. Опротивела ровная благочестивая жизнь».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**

Ему же 4 июня.

...«*Мне вообще не весело*». (Курсив мой. И. Б.)

...«Я пишу повесть — маленькую любовную историю (Соседи). Пишу с удовольствием, находя приятность в самом процессе письма, а процесс у меня кропотливый, медлительный. Когда же болит голова или около меня говорят вздор, то пишу со скрежетом зубным. Голова часто болит, а слушать вздор приходится еще чаще».

**

А. С. Суворину, 1 августа, Мелихово.

...«Теперь все работают. Люто работают. В Нижнем на ярмарке делают чудеса, которые могут заставить даже Толстого относиться уважительно к медицине. Похоже будто на холеру накинута аркан... В огромной Москве холера не идет дальше 50 случаев в неделю, а на Дону она хватает по тысяче в день».

...«Помощников у нас нет, придется быть и врачом и санитарным служителем в одно и то же время; мужики грубы, нечистоплотны, недоверчивы, но мысль, что наши труды не пропадут даром, делает все это почти незаметным. *Из всех серпуховских докторов я самый жалкий; лошади и экипаж у меня паршивые, дорог я не знаю, по вечерам ничего не вижу, денег у меня нет, утомляюсь я очень скоро, а главное — я никак не могу забыть, что надо писать, и мне очень хочется наплевать на холеру и сесть писать. И с Вами хочется поговорить. Одиночество круглое*». (Курсив мой. Ив. Б.)

Ему же 18 октября, Мелихово.

• • •
 «Зима. Участок мой уже закрыт, но больные все-таки ходят. Вчера отвез в «Русскую мысль» две повести. Буду работать всю зиму не вставая, чтобы весной уехать в Чикаго. Оттуда через Америку и Великий океан в Японию и Индию. После того, что я видел и чувствовал на востоке, меня не тянет в Европу, но будь время и деньги, поехал бы опять в Италию и Париж».

А что пишет о нем Гиппиус!

«Пишите мне, пожалуйста. Что Вы не были на похоронах Свободина, это хорошо. *Вообще никогда не ходите на похороны*». (Курсив мой. И. Б.)

**
*

1893

Ал. П. Чехову, 4 апреля, Мелихово.

«Чем глубже погружаюсь я в старость (это в 33 года! И. Б.) тем яснее вижу шипы роз, коими усеян твой жизненный путь... Нервы скверные до гнусности, денег нет и не будет, *смелости и умения жить тоже нет, здоровье скверное, настроение хорошее для нас почти уже не доступно...*» (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

Л. А. Авиловой, 1 марта, Москва.

• • •
 ...«*Мне, если говорить одну только сущую правду, очень хотелось побывать у Надежды Алексеевны уж*

потому только, что мне нравится бывать у нее. У нее я хотел встретиться с Вами, можете себе представить. Как это ни невероятно, но верно. Я хотел сказать Вам несколько хороших слов насчет Ваших рассказов и, как выражаются литературные льстецы, приветствовать Ваши успехи, которые заметил не только Тихонов...» (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

. . .

«Я живу в деревне. Постарел, одичал. У меня по целым дням играют и поют романсы в гостиной рядом с моим кабинетом, и потому я постоянно пребываю в элегическом настроении, чем прошу объяснить мирный и спокойный тон этого письма».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

. . .

«Вы делаете большие успехи, но позвольте мне повторить совет — писать холоднее. Чем чувствительнее положение, тем холоднее следует писать и тем чувствительнее выйдет». (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

А. С. Суворину, 28 июня.

. . .

«Медицина утомительна и мелочна порой до пошлости. Бывают дни когда мне приходится выезжать из дому раза четыре или пять. Вернешься из Крюкова, а во дворе уже дожидается посланный из Васькина. И бабы с младенцами одолели. В сентябре бросаю медицинскую практику окончательно».

**
*

А. С. Суворину, 7 августа.

...«Обидно, что Вы уезжаете за границу. Когда я прочел об этом в Вашем письме, то у меня в нутре точно ставни закрыли. В случае беды или скуки камо пойду? К кому обращусь? Бывают настроения чертовские, когда хочется говорить и писать, а кроме Вас я ни с кем не переписываюсь и ни с кем долго не разговариваю. Это не значит, что Вы лучше всех моих знакомых, а значит, что я к Вам привык и что только с Вами я чувствую себя свободно...»

**
*

Ему же 18 августа, Мелихово.

...«У меня не характер, а мочалка. Черткову я отдал «Палату № 6», потому что перед весной и весной я находился в таком настроении, что мне было все равно. Если бы он стал просить все мои произведения, то я отдал бы, и если бы он пригласил меня на виселицу, то я пошел бы. Этакое безличное и безвольное состояние держит меня иногда по целым месяцам. Этим и отчасти и объясняется весь строй моей жизни».

**
*

1894

А. С. Суворину, 27 марта, 1894. Ялта.

...«В общем я здоров, болен в некоторых частностях. Например, кашель, перебои сердца, геморрой. Как-то перебои сердца у меня продолжались 6 дней, непрерывно, и ощущение все время было отвратительное. После того, как я совершенно бросил курить, у

меня уже не бывает мрачного и тревожного настроения. Быть может оттого, что я не курю, толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно и это, конечно, несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6-7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса... Но дело не в этом, не «в за и против», а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст».

**
**

Ему же 21 апреля, Мелихово:

. . .

...«хожу с соседом-князем, разговариваю — вдруг в груди что-то обрывается, чувство теплоты и тесноты, в ушах шум, я вспоминаю, что у меня подолгу бывают перебои сердца — значит не даром, думаю; быстро

иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как-то неловко падать и умирать при чужих. Но вошел к себе в спальню, выпил воды — и очнулся. Значит не одного Вас пошатывает!»

**
*

Ему же, 22 июня.

...
...«Мне хочется жить, и куда-то тянет меня какая-то сила. Надо бы в Испанию и в Африку. С 16 июля сажусь писать пьесу, содержание которой я рассказывал Вам. Не знаю, что выйдет. Боюсь напутать и нагромоздить подробностей, которые будут вредить ясности».

**
*

М. П. Чеховой, 25 декабря, Мелихово.

...
«Получил от Лики письмо. Пишет, что учится петь, учится массажу и английскому языку. Пишет, что ей хотелось бы посидеть на моем диване хотя бы 10 минут, и что приедет она в марте».

Л и к а

Мизинова Лидия Стахиевна (1870-1937), приятельница М. П. Чеховой, затем всей семьи. Дочь железнодорожного чиновника и учительницы музыки. Она преподавала в младших классах гимназии Ржевской, где и познакомилась с учительствовавшей там Марьей Павловной.

**
*

...«У нашей сестры Марьи Павловны была подруга, очаровательная девушка, которую сестра в шутку представляла так: «Подруга моих братьев и моя». И действительно эта Лидия Стахиевна, или, как все мы ее звали, Лика, была нашим лучшим другом. Я не скажу, чтобы кто-нибудь из нас, братьев пылал к ней, но нам было с нею весело, и мы без нее скучали. (Подчеркнуто мною. Ив. Б.) Она обладала необыкновенным даром понимать шутки и отвечать на них еще более острыми и более удачными шутками. Она никогда не хныкала, не жаловалась и всегда была весела, хотя мы и знали отлично, как иногда тяжело ей приходилось в жизни. Когда она приезжала к нам, то у нас все оживало, и даже отец наш Павел Егорович подсаживал ее к себе и угощал настоечкой из березовых почек».

Это я выписал из воспоминаний М. П. Чехова.

**

Антон Павлович писал Александру Павловичу 28 августа, 1888 г.

...«ты отлично знаешь, что семья, музыка, ласка и доброе слово даются не женитьбой на первой, хотя бы и весьма порядочной встречной, а любовью. Если нет любви, то зачем говорить...»

**

В начале 1890 г. Лика служила в московской городской Думе, занималась в драматической школе, позднее училась пению, была отправлена за границу от частной оперы Мамонтова для подготовки к карьере оперной певицы.

**
*

Письмо Л. С. Мизиновой к Чехову в Ниццу 2-го октября 1894 г.

«Ваша карточка из Таганрога повеяла на меня холодом (эта открытка Чехова к Мизиновой не сохранилась). Видно уж мне суждено так, что все люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Почему-то все-таки мне хочется сегодня поговорить с Вами. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось следа, как я думаю, все-таки не могу не сказать, что виной всему Вы!..»

**

Л. С. Мизиновой, 27 декабря 1897, Ницца.

...«труд, каким бы скромным он ни казался со стороны — будь то мастерская или лавочка — даст Вам независимое положение, успокоение и уверенность в завтрашнем дне. Я бы сам тоже с удовольствием открыл что-нибудь, чтобы бороться за существование изо дня в день, как все».

**
*

М. П. Чеховой, 9 января 1898, Ницца.

...«Что Лика и как ее мастерская? Она будет шипеть на своих мастериц, ведь у нее ужасный характер. И к тому же она очень любит зеленые и желтые ленты, и громадные шляпы, а с такими пробелами во вкусе нельзя быть законодательницей мод и вкуса.*) (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

*) Но я не против того, чтобы она открыла мастерскую. Ведь это труд, как бы ни было.

**
*

Вернувшись из-за границы, некоторое время Лика состояла в труппе Московского Художественного театра, в 1902 г., после того, как Чехов женился, оставила сцену, выйдя замуж за актера и режиссера М. Х. Т., А. А. Санина.

**
*

О. Л. Книппер, 12 марта 1902, Ялта:

...«Лику я давно знаю, она как бы ни было, хорошая девушка, умная и порядочная. Ей с Саниным будет нехорошо, она не полюбит его, а главное — будет не ладить с его сестрой и, вероятно, через год уже будет иметь широкого младенца, а через полтора года начнет изменять своему супругу. Ну, да это все от судьбы».

**
*

1895

А. С. Суворину, 25 февраля:

...«и попрежнему мне никто не дарит ни подушек, ни брелок, ни галстуков...»

А брелок от Авиловой был получен... Ив. Б.

**
*

Е. М. Шавровой, 28 февраля, Мелихово.

...«Нашего нервного века» — я не признаю, так как во все века человечество было нервно».

**
*

Г. М. Чехову, 21 марта, Мелихово.

. . .

...«А старость уже не за горами».
Это в 35 лет! Рано.

**
*

23 марта А. С. Суворину.

«Я говорил Вам, что Потапенко очень живой человек, но Вы не верили. В недрах каждого хохла скрывается много сокровищ».

. . .

...«Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день: оттого, что женюсь, писать не стану лучше».

**
*

А. И. Урусову, 21 ноября, Мелихово.

. . .

...«вчера я кончил новую пьесу, которая носит птичье название: «Чайка». Комедия в 4-х действиях. В декабре я буду в Москве (Большая Московская гостиница) и, буде пожелаете, пришлю или привезу Вам эту пьесу».

**
*

А. С. Суворину, 21 ноября, Мелихово.

«Ну-с, пьесу я уже кончил. Начал форте и кончил пьаниссимо — вопреки всем правилам драматического

искусства. Вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен и, читая свою новорожденную пьесу, еще раз убеждаюсь, что я совсем не драматург».

**

Ему же, 6 декабря, Москва.

...«Завтра я пошлю Вам пьесу, но в рукописи».

...«Юбилей Чупрова прошел удивительно. В нем чувствовали чистоту, и энтузиазм был всеобщий. Речи говорились вполне искренно, от всей души; ничего подобного я не слышал никогда раньше. На стипендию собрали 7 тысяч в какие-нибудь три дня. И выходит, что масса тяготеет к порядочности и жадно набрасывается на нее со своими ласками при первой возможности.

Сегодня св. Николая, в Москве малиновый звон. Я встал рано, зажег свечи и сел писать, а на дворе звонили, было приятно».

**

1896

Тихонову-Луговому. 29 марта, Мелихово.

...«Никакой весны нет. Снег, сугробы, шубы и термометр по утрам показывает —11°. Скворцы еще не прилетели, а грачи шагают по дорогам уныло, точно факельщики, очевидно пока они летели, им нечего было есть. Значит, и на юге холодно».

**

И. Н. Потапенко, 8 апреля, Мелихово.

...«И скука старая. 3-4 дня поплевал кровью, а теперь ничего, хоть бревна таскать или жениться. Смотрю в бинокль на птиц. Пишу роман для «Нивы».

**
*

Ф. О. Шехтелю, 13 апреля, Мелихово.
...«Я строю школу».

**
*

Н. М. Ежову, 13 апреля.

...«Редко у кого не бывало плеврита, и редко кто не принимал креозот. У меня самого уже давно кашель и кровохарканье, а вот — пока здравствую, уповаю на Бога и на науку, которой в настоящее время поддаются самые серьезные болезни легких».

**
*

Е. М. Шавровой, 18 или 19 апреля.

...«Здоровье мое не ахти. Вчера был на земском собрании (я гласный) и чувствовал себя там «Неуважай-корытом».

**
*

П. Е. Чехову, начало мая, Москва.

«Пришлите за мной во вторник к курьерскому маленький тарантас. Мальчика и Кубаря.

У Маши на столе лежит письмо для передачи Боголепову.

Плотникам скажите, чтобы без меня не строили крыши. Пусть подождут. Если им понадобится какой лес, то можно послать к Шибяеву или Токареву, если последний прислал смету цен.

Желаю всего хорошего и всем кланяюсь.

А. Чехов».

Без обращения! не простил за свое детство.

**
*

Суворину, 20 июня, Мелихово.

• . . .
«Был в Москве и шатался там по Ярам и Эрмитажам, не ложился спать две ночи и теперь испытываю недомогание. Когда не спишь долго, то представление о времени путается, и мне теперь кажется, что те сыроватые, серые утра, которые я провел около Москвы, были шесть лет назад.

У меня пышно цветут розы и масса клубники, но все-таки хочется уехать куда-нибудь. Хочется двигаться.

Строю колокольню. Посылаем во все стороны воззвания о пожертвованиях. Мужики подписываются на больших листах и прикладывают тусклую грязную печать, а я посылаю по почте. Ну-с, желаю Вам всяких благ, побольше ершей, поменьше дождя, который бывает в Тверской губ. почти каждый день, и наедает страшно».

Ему же, 11 июля, Мелихово.

...«цензор выразил готовность прислать мне пьесу, чтобы я сам вычеркнул или изменил места, которые он находит сомнительными».

**
*

М. О. Меньшикову, 11 августа, Мелихово.

«Завидую Вам, что Вы едете в Ясную Поляну. Я стремлюсь туда всем существом своим, и, должно быть, в сентябре мне удастся побывать там. Я собирался в июне — в июле, но не было уверенности, что я не стесню. Судя по газетным известиям, Ясная Поляна запружена гостями — французами и американ-

цами. Не так давно я встретил на железной дороге доктора, который хвалился мне, что он гостит у Льва Николаевича вместе со своими малолетними детьми и что (вместе) одновременно с ним гостит там и Тищенко, нудный хохол, читавший вслух свою повесть. Вот приехать, когда там этакая компания, было бы не совсем кстати».

**
*

И. Н. Потапенко, 11 августа, Мелихово.

...«Цензор наметил синим карандашом места, которые ему не нравятся по той причине, что брат и сын равнодушно относятся к любовной связи актрисы с беллетристом. На странице 4-й я выбросил фразу «открыто живет с этим беллетристом» и на 5-й «может любить только молодых».

16-17 уезжаю на юг, буду в Феодосии, поухаживаю за твоей женой».

**
*

А. С. Суворину, 13 августа, Мелихово.

«Повесть для «Нивы» я кончил. Колокольню кончил. Было освящение школы, и мужики после молебна (который служили три попа) поднесли мне образ, две серебряные солонки и четыре хлеба на блюдах. Один старик говорил речь; говорил очень хорошо. Школа — лучшая в уезде.

...Погода у нас опять жаркая, много грибов. Когда хорошая погода, особенно под осень, то хочется иметь тысяч пятьдесят. Чего бы только я не наделал на эти деньги».

**
*

М. П. Чеховой, 20 сентября, Мелихово.

«Милая Маша, если успеешь, купи у Иммера 100 тюльпанов (одинаких), а то весной мы будем без цветов».

**
*

Щепкина-Куперник.

«У всех Чеховых есть одно свойство: их, как говорится, «слушаются» растения и цветы — «хоть палку воткни, вырастет» — говорил А. П. Он сам был страстный садовод и говорил, так же как Чайковский, что мечта его жизни, «когда он не сможет больше писать», — заниматься садом».

**
*

Ч а й к а

М. П. Чехову, 15 октября, Петербург.

«Моя «Чайка» идет 17-го октября. Коммиссаржевская играет изумительно. Новостей никаких. Жив и здоров. В Мелихове буду около 25-го октября или в конце октября. 29 земское собрание, на котором мне надо быть, ибо будет разговор о дороге».

**
*

А. С. Суворину, 18 октября, Петербург.

«Печатание пьес приостановите. Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но все же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении».

...«В Москве ставить пьесу я не буду. НИКОГДА я не буду ни писать пьес, ни ставить».

**
*

А. И. Сувориной, 19 октября, Мелихово.

...«Я уехал не простившись. Вы сердитесь? Дело в том, что после спектакля мои друзья были очень взволнованы; кто-то во втором часу ночи искал меня в квартире Потапенки; искали на Николаевском вокзале, а на другой день стали ходить ко мне с десяти часов утра, и я каждую минуту ждал, что придет Давыдов с советами и выражением сочувствия. Это трогательно, но нестерпимо. К тому же у меня заранее было предрешено, что я уеду на другой день независимо от успеха или неуспеха. Шум славы ошеломляет меня, я и после «Иванова» уехал на другой день. Одним словом у меня было непреодолимое стремление к бегству».

**
*

А. С. Суворину, 22 октября, Мелихово.

...«пожалуйста, не жалейте, что Вы не были на репетиции. Ведь была в сущности только одна репетиция, на которой ничего нельзя было понять; сквозь отвратительную игру совсем не видно было пьесы.

Получил телеграмму от Потапенко: успех колоссальный. Получил письмо от незнакомой мне Веселитской (Микулич), которая выражает свое сочувствие таким тоном, как будто у меня в семье кто-нибудь умер, — это уж совсем некстати. А впрочем, все это пустяки».

**
*

В. В. Билибину, 1 ноября, Мелихово.

...«Я, конечно, рад, очень рад, но все же успех 2-го и 3-го представления не может стереть с моей души впечатления 1-го представления. Я не видел всего, но то, что видел, было уныло и странно до чрезвычайности. Ролей не знали, играли деревянно, нерешительно, все пали духом, пала духом и Коммиссаржевская, которая играла неважно. И в театре было жарко, как в аду».

**
*

А. С. Суворину, 2 ноября, Мелихово.

«Да, проживу 700 лет и не напишу ни одной пьесы. Держу пари на что угодно».

**
*

Т. Л. Толстой, 9 ноября, Мелихово.

«В своем письме Вы спрашивали, нет ли у меня чего-нибудь конченного и не привезу ли я прочесть. К концу лета у меня была готова повесть в 5 листов, «Моя жизнь» (другого названия я не сумел придумать), и я рассчитывал привезти ее с собой в Ясную Поляну, в корректурных листах. Теперь она печатается в «Приложениях Нивы», и я чувствую к ней отвращение, так как по ней проехала цензура и многие места стали неузнаваемы».

**
*

Вл. И. Немировичу-Данченко, 20 ноября, Мелихово.

«Да, моя «Чайка» имела в Петербурге, в первом представлении, громадный неуспех. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я — по законам физики — вылетел из Петербурга, как бомба. Во всем виноваты ты и Сумбатов, так как это вы подбили меня написать пьесу!

Здоровье мое ничего себе, настроение тоже. Но боюсь, что настроение скоро будет опять скверное: Лавров и Гольцев настояли на том, чтобы «Чайка» печаталась в «Русской мысли» — и теперь начнет хлестать меня литературная критика. А это противно, точно осенью в лужу лезешь».

У него какое-то особенное мышление, полное неожиданностей, оригинальность сравнений и т. д.

**
*

А. С. Суворину, 2 декабря, Мелихово.

...«До сих пор я прокорректировал только «Иванова» и водевили: остались еще не набранными две большие пьесы: известная Вам «Чайка», и неизвестный никому в мире «Дядя Ваня».

Ему же, 7 декабря, Мелихово.

...«Ах, зачем я писал пьесы, а не повести! Пропали сюжеты, пропали зря, со скандалом, непроизводительно».

**
*

Ему же, 14 декабря, Мелихово.

...«17 октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно: те, с кем я до 17-го октября дружески и приятельски откровенничал, беспечно

обедал, за кого ломал копыя (как, например, Ясинский) — все эти имели странное выражение, ужасно странное... Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину выразить в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а «Неделе» вопрошать: «что сделал им Чехов», а «Театралу» поместить целую корреспонденцию (95 №) о том, будто бы пишущая братия устроила мне в театре скандал. Я теперь спокоен, настроение у меня обычное, но все же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили».

**
*

Ф. О. Шехтелю, 18 декабря, Мелихово.

«Теперь о здоровья. Во мне бациллы, я постоянно покашливаю, но в общем чувствую себя недурно и пребываю в непрерывном движении.

Ходят слухи, что Левитан серьезно болен».

**
*

1897

97 год. Перепись, больные, поездки в Москву.

«Замучила перепись». Едет в Москву.

Пельмени. «Поужинаем вместе».

1 марта «Затеваем громадный народный театр».

Устраиваю «Спектакль в Серпухове в пользу школы».

Пишет «Мужиков».

«Еду хлопотать по одному делу». (1 марта).

«Постройка больницы и квартиры для врача».
(2 марта).

Едет в Москву (20 марта).

«Нет дня свободного!»

«Плюю кровью!»

«Плюю кровью» (март).

«Идет кровь» (22 марта).

**
*

А. С. Суворину, 17 января 1897 г., Мелихово.

...«и население, и врачи давно уже привыкли к форсированной смертности, благодаря дифтериту, тифам и проч. Ведь и без чумы у нас из 1000 доживает до 5-летнего возраста едва 400, и в деревнях, и в городах на фабриках и задних улицах не найдете ни одной здоровой женщины».

**
*

Е. М. Шавровой, 2 февраля, Мелихово.

...«С марта я уже начинаю строить школу; в июне она уже будет готова».

**
*

А. С. Суворину, 8 февраля, Москва, Больш. Моск. гостиница.

«Перепись кончилась. Это дело изрядно надоело мне, так как приходилось и считать, и писать до боли в пальцах, и читать лекции 15 счетчикам. Счетчики работали превосходно».

**
*

А. С. Суворину, 1 марта, Мелихово.

«На съезде актеров Вы, вероятно, увидите проект громадного народного театра, который мы затеваем. Мы, т. е. представители московской интеллигенции (интеллигенция идет навстречу капиталу, и капитал не чужд взаимности)».

...«Художник Левитан (пейзажист), повидимому, скоро умрет. У него расширение аорты».

**
*

Л. А. Авиловой, 18 марта, Мелихово.

«Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с Вами, очень — несмотря на то, что вы сердитесь и желаете мне всего хорошего «во всяком случае». Я приеду в Москву до 26 марта, по всей вероятности, в понедельник, в 10 часов вечера; остановлюсь в Большой Московской гостинице, против Иверской. Быть может, приеду и раньше, если позволят дела, которых у меня, увы!, очень много. В Москве я пробуду до 28 марта и затем, можете себе представить, поеду в Петербург.

Итак, до свидания. Смените гнев на милость и согласитесь поужинать со мной или пообедать. Право это будет хорошо».

**
*

Г. М. Чехову, 19 марта.

...«освобожден ли от платы Вениамин Евтушевский. Скажу тебе п о с е к р е т у: за Вениамина внес я плату за первое полугодие».

**
*

В. Н. Семенковичу, март, Мелихово.
«Я сам нездоров: плюю кровью».

**
*

Л. А. Авиловой, 22 марта, Москва, Больш. Московс.
гост. № 5, Суббота.

«Я приехал в Москву раньше, чем предполагал, когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома! Не найдете ли Вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к вам?»

**
*

Н. Н. Оболенскому, 22 марта, Москва.
«Приезжайте, голубчик, сегодня в «Славянский Базар». Я заболел».

Ему же, 23 марта, Москва.
«Идет кровь».

Больш. Моск. гост. № 5.

**
*

В. А. Гольцеву, 23 марта, Москва.
...«Вчера вечером со мной случился скандал: только что сел обедать, как из легкого пошла кровь, которую я унял только к утру. И ночевать пришлось не дома.

Будь здоров и Богом храним.
Воскресенье».

**
*

Л. А. Авиловой, 28 марта, Москва.

«Ваши цветы не вянут, а становятся все лучше. Коллеги разрешили мне держать их на столе. Вообще вы добры, очень добры, и я не знаю, как мне благодарить Вас.

Отсюда меня выпустят не раньше Пасхи; значит, в Петербург попаду я не скоро. Мне легче, крови меньше, но всё еще лежу, а если пишу письма, то лежа».

**
*

А. С. Суворину, 1 апреля, Москва.

«Доктора определили верхушечный процесс в легких и предписали мне изменить образ жизни. Первое я понимаю, второе же непонятно, потому что почти невозможно. Велят жить непременно в деревне, но ведь постоянная жизнь в деревне предполагает постоянную возню с мужиками, с животными, стихиями всякого рода, и уберечься в деревне от хлопот и забот так же трудно, как в аду от ожогов. Но все же буду стараться менять жизнь по мере возможности, и уже через Машу объявил, что прекращаю в деревне медицинскую практику. Это будет для меня облегчением, и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть. Велят мне есть раз шесть в день и возмущаются; находя, что я ем очень мало. Запрещено много говорить, плавать и проч. и проч.».

«Автора «Палаты № 6» из палаты № 16 перевели в № 14. Тут просторно, два окна, потапенское освещение, три стола. Крови выходит немного. После того вечера, когда был Толстой (мы долго разговаривали), в 4 часа утра, у меня опять шибко пошла кровь».

«Я пишу уже не лежа, а сидя, но, написав, тотчас же ложусь на одр свой».

**
*

Ал. П. Чехову, 2 апреля, Москва, Девичье поле, клиники.

«Температура нормальная, потов ночных нет, слабости нет, но снятся архимандриты, будущее представляется весьма неопределенным и, хотя процесс зашел еще не особенно далеко, необходимо все-таки, не откладывая, написать завещание».

**
*

А. И. Эртелю, 17 апреля, Мелихово.

...«Толстой пишет книжку об искусстве. Он был у меня в клинике и говорил, что повесть свою «Воскресенье» он забросил, так как она ему не нравится, пишет же только об искусстве и прочел об искусстве 60 книг. Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до пес plus ultra, что искусство измельчало, изнашилось, что люди ослабели и проч. и проч. Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулок, из которого ему нет выхода (вперед).

Я ничего не делаю, кормлю воробьев конопляным семенем и обрезаю по одной розе в день».

**
*

Н. М. Линтваревой, 1 мая, Мелихово.

«У меня гостит в настоящее время глазной врач со своими стеклами. Вот уже два месяца, как он под-

бирает для меня очки. У меня так называемый астигматизм, — благодаря которому у меня часто бывает мигрень, и кроме того, еще правый глаз близорукий, а левый дальнозоркий. Видите какой я калека. Но это я тщательно скрываю и стараюсь казаться бодрым молодым человеком 28 лет, что мне удается очень часто, так как я покупаю дорогие галстуки и душусь “Vera Violetta”.

**
*

Н. А. Лейкину, 21 мая, Мелихово.

«Во второй половине мая ездил кой-куда экзаменовать школьников, теперь совершенно свободен, ничего не делаю и лишь изредка навещаюсь на постройку новой школы, которая строится по моему плану. Я теперь в уезде что-то вроде архитектора. Вот уже вторую школу строю».

**
*

А. С. Суворину, 21 июня, Мелихово.

...«На днях был в имении миллионера Морозова; дом как Ватикан, лакеи в белых пикейных жилетах с золотыми цепями на животах, мебель безвкусная, вина от Лева, у хозяина никакого выражения на лице — и я сбежал».

...«Водку трескают отчаянно, и нечистоты нравственной и физической тоже отчаянно много. Прихожу все более к заключению, что человеку порядочному и не пьяному можно жить в деревне только скрепя сердце, и блажен русский интеллигент, живущий не в деревне, а на даче».

**
*

1897-98

Ницца

М. П. Чеховой, 29 сентября 1897 г., Ницца.

...«В Ницце тепло, хожу без пальто, в соломенной шляпе. Познакомился с Максимом Ковалевским, живущим около Ниццы в Болье, в своей вилле. Это тот самый М. Ковалевский, который был уволен из университета за вольнодумство и в которого, незадолго до своей смерти, была влюблена Софья Ковалевская. Это интересный, живой человек; ест очень много, много шутит, смеется заразительно — и с ним весело. Готовится к лекциям, которые будет читать в Париже и Брюсселе».

**
*

И. П. Чехову, 2 октября, Ницца.

«За границей стоит пожить, чтобы поучиться здешней вежливости и деликатности в обращении. Горничная улыбается, не переставая; улыбается, как герцогиня на сцене — и в то же время по лицу видно, что она утомлена работой. Входя в вагон, нужно поклониться; нельзя начать разговора с городовым или выйти из магазина, не сказавши “bonjour”. В обращении даже с низшими нужно прибавлять “madame, monsieur”.

**
*

М. П. Чеховой, 15 октября, Ницца.

«...Я не преувеличиваю и с каждым днем все убеждаюсь, что петь в опере не дело русских. Русские могут быть разве только басами, и их дело торговать, писать, пахать, а не в Милан ездить».

**

Л. А. Авиловой, 3 ноября, Ницца.

«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочитал Ваши «Забытые письма». Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде».

**

А. И. Сувориной, 10 ноября, Ницца.

...«Самочувствие у меня прекрасное, наружно (как мне кажется) я здоров совершенно, но вот беда моя... .. Кровь идет помалу, но подолгу и последнее кровотечение, которое продолжается и сегодня, началось недели три назад».

«Только, ради Создателя, никому не говорите про кровохарканье, это между нами. Домой я пишу, что совершенно здоров, и иначе писать нет смысла, так как я чувствую себя прекрасно — и если дома узнают, что у меня всё идет кровь, то возопиют».

«Погода здесь райская. Жарко, тихо, ласково. Начались музыкальные конкурсы. По улицам ходят оркестры, шум, танцы, смех. Гляжу на все это и думаю: как глупо я делал раньше, что не живал подолгу за границей. Теперь мне кажется, что если буду жив, я уже не стану зимовать в Москве, ни за какие пряники. Как октябрь, так и вон из России. Природа здешняя меня не трогает, она мне чужда, но я страстно люблю тепло, люблю культуру... А культура прет здесь из каждого магазинного окошка, из каждого лукошка; от каждой собаки пахнет цивилизацией».

**
*

М. П. Чеховой, 25 ноября, Ницца.

...«Работаю, к великой досаде, недостаточно много и недостаточно хорошо, ибо работать на чужой стороне за чужим столом неудобно»... (Подчеркнуто мною. И. Б.).

«Не забудь: на Рождестве сотскому Григорию дать 1 рубль, священнику, когда приходит с крестом, не давать меньше 3 р. (Ведь мы кроме денег ничего не даем!); узнай, сколько в Талезной школе мальчиков и девочек и, посоветовавшись с Ваней, купи для них подарков к Рождеству. Беднейшим валенки; у меня в гардеробе есть шарфы, оставшиеся от прошлого года, можно и их пустить в дело. Девочкам что-нибудь поцветистее».

**
*

В. М. Соболевскому, 4 декабря, Ницца.

...«Я целый день читаю газеты, изучаю дело Дрейфуса. По-моему, Дрейфус не виноват».

**
*

М. П. Чеховой, 25 декабря, Ницца.

...«О времени своего отъезда в Алжир сообщу своевременно. Поеду в Марсель, потом морем в Африку, увижу там наших скворцов, которые, быть может, и узнают меня, но не скажут».

**
*

М. П. Чеховой, 16 января 1898 г. Ницца.

...«Мне стукнуло уже 38 лет; это немножко много, хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я прожил уже 89 лет».

**
*

Ф. Д. Батюшкову, 23 января, Ницца.

«У нас только и разговору, что о Золя и Дрейфусе. Громадное большинство интеллигенции на стороне Золя и верит в невинность Дрейфуса. Золя вырос на целых три аршина; от его протестующих писем точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава Богу, есть еще справедливость на свете и что, если осудят невинного, есть кому вступиться. Французские газеты чрезвычайно интересны, а русские — хоть брось. «Новое время» просто отвратительно».

**
*

А. С. Суворину, 6 февраля, Ницца.

«Вы пишете, что Вам досадно на Золя, а здесь у всех такое чувство, как будто народился новый, лучший Золя. В этом своем процессе он, как в скипидаре, очистился от наносных сальных пятен и теперь засиял перед французами в своем настоящем блеске. Это чистота и нравственная высота, каких не подозревали. Вы проследите весь скандал с самого начала. Разжалование Дрейфуса... произвело на всех (в том числе, помню, и на Вас) тяжелое, унылое впечатление. Замечено было, что во время экзекуции Дрейфус вел себя, как порядочный, хорошо дисциплинированный офицер, присутствовавшие же на экзекуции, напри-

мер, журналисты, кричали ему: «Замолчи, Иуда», т. е. вели себя дурно, непорядочно. Все вернулись с экзекуции неудовлетворенные, со смущенной совестью... Волей-неволей пришлось заговорить о бюро справок при военном министерстве, этой военной консистории, занимающейся ловлей шпионов и чтением чужих писем, пришлось заговорить, так как шеф бюро Sandherr, оказалось, был одержим прогрессивным параличом, Paty de Clam явил себя чем-то вроде берлинского Тауша, Picquart ушел вдруг таинственно, со скандалом...»

**
*

1898

*Мелихово, Москва, смерть отца, любовь
к матери, купчая крепость, участок
в Аутке.*

П. Ф. Иорданскому, 25 июня, Мелихово.

...«По всему видно, что Вы уже сговорили с Антокольским и что памятник в Таганроге будет великолепный. От души поздравляю Вас».

...«Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два на три и занялся бы районом Таганрог-Краматоровка-Бахмут-Звереве. Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней как дома, и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-могилу, рассказы про Зуя, Харцыза, генерала Иловайского, вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен».

**
*

Л. А. Авиловой, 10 июля, Мелихово.

...«Я часто слышу о Вас так много хорошего, и мне грустно, что в одном из своих писем я критиковал Ваши рассказы («На изломе») и этой ненужной суровостью немножко опечалил Вас. Мы с Вами старые друзья; по крайней мере я хотел бы, чтобы это было так. Я хотел бы, чтобы Вы не относились преувеличенно строго к тому, что я иногда пишу Вам».

**
*

А. Б. Тарахановскому, 19 сентября, Москва.

«Ну как прошел юбилей? Если весело, то жалею, что не поехал. Я люблю юбилеи и всякие суматохи, когда поют и много говорят».

**
*

М. П. Чеховой, 23 сентября, Ялта.

«Милая Маша, возьми 1 экземпляр «Мужиков», заверни в пакет и в Москве, при случае, занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гутхейля для передачи «Сергею Васильевичу Рахманинову». Или поручи кому-нибудь занести».

...«Все благополучно. Я здоров. В Севастополе в лунную ночь я ездил в Георгиевский монастырь и смотрел вниз с горы на море; а на горе кладбище с белыми крестами. Было фантастично. И около келий гулко рыдала какая-то женщина, пришедшая на свидание, и говорила монаху умоляющим голосом: — «Если ты меня любишь, то уйди».

**
*

Ей же, 9 октября, Ялта.

...«местные доктора настойчиво советуют завести себе маленький домик и в Ялте. Такой домик, чтобы уезжая, можно было запирать его и брать с собой ключ».

«Если бы мне через 10-15 лет иметь дом в Ялте и маленький хутор в окрестностях, то я бы ничего больше не хотел для своей старости».

**
*

М. П. Чеховой, 14 октября, Ялта.

«Отцу царство небесное вечный покой грустно глубоко жаль пишете подробности здоров совершенно не беспокойтесь берегите мать — Антон».

**
*

А. С. Суворину, 17 октября, Ялта.

...«Мать, вероятно, уже не захочет жить в деревне, ей одной там будет страшно. Должно быть, продадим Мелихово и устроимся в Крыму, где будем жить вместе».

**
*

Г. М. Чехову, 21 октября, Ялта.

...«когда будешь проходить мимо редакции «Таганрогского вестника», зайди и попроси, чтобы газету высылали не в Лопасню, а мне по адресу: Ялта

А. П. Чехову. Теперь уже в Мелихове некому читать «Таганрогский вестник».

**
*

Л. А. Авиловой, 21 октября, Ялта.

«У меня в октябре умер отец, и после этого усадьба, в которой я жил, потеряла для меня всякую прелесть; мать и сестра тоже уже не захотят жить там, и придется теперь начинать новую жизнь. А так как мне запрещено зимовать на севере, то свивать себе новое гнездо, вероятно, придется на юге. Отец умер неожиданно, после тяжелой операции — и это на меня и на всю семью подействовало угнетающе, не могу опомниться».

«Как бы то ни было, не сердитесь на меня и простите, если в самом деле в моих последних письмах было что-нибудь жестокое, или неприятное. Я не хотел огорчать Вас, и если мои письма иногда не удаются, то это не по моей вине, это против воли». (Подчеркнуто мною. И. Б.).

**
*

М. П. Чехову, 25 октября.

...«Послезавтра совершаю купчую крепость. Покупаю участок в Аутке, в 20 минутах ходьбы от моря; чудесный вид во все стороны, на море, на горы: сад, виноградник, колодезь, водопровод... Я уже член Ялтинского о-ва взаимного кредита».

**
*

Ему же, 26 октября, Ялта.

«Перспектива постоянного скитанья, с номерами, швейцарами, случайной кухней и проч. пугает мое воображение. Со мной зимовала бы и мать».

«Что касается женитьбы, на которой ты настаиваешь, то — как тебе сказать? Жениться интересно только по любви: жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. В семейной жизни самый важный винт — это любовь, половое влечение, едина плоть, все же остальное — не надежно и скучно, как бы умно мы ни рассчитывали. Стало быть, дело не в симпатичной девушке, а в любимой; остановка, как видишь, за малым».

**
*

М. П. Чеховой, 13 ноября, Ялта.

«Что мать думает о зимовке в Ялте? Ей тут будет очень хорошо. Здесь даже кофе дешевле, а главное, тепло, не нужно мерзнуть и угорать, и пожары не страшны. Можно взять сюда и Дормедонтовну, буде пожелает».

...«Будь здорова и весела. Гонорар с «Чайки» пойдет на школу. Если продавать Мелихово, то не оставить ли нам кусочек земли, 10-20 десятин за церковь, во втором участке?»

**
*

М. О. Меньшикову, 15 ноября, Ялта.

«Была сестра, и мы решили, что все останется, как было, по-старому. Лето я буду проводить в Ме-

лихове. Мать привыкла к Мелихову, к хозяйству, пейзажу привыкли к нам, а мы к ним, и было бы жаль продавать. Вы пишете, что в Мелихове сыро. Нет, там сухо, летом вовсе не бывает тумана; водораздел.

**
*

А. С. Суворину, 29 ноября, Ялта.

«У меня пять дней было кровохарканье и вот только сегодня отпустило. Но это между нами, не говорите никому. Я совсем не кашляю, температура нормальная, и моя кровь пугает других больше, чем меня — и потому я стараюсь кровохаркать тайно от своих».

**
*

М. П. Чеховой, 2 декабря, Ялта.

. . .

...«Кстати сказать, в Ялте нет ни дворян, ни мещан, перед бациллой все равны, и эта бессословность Ялты составляет некоторое ее достоинство».

Ей же, 6 декабря, Ялта.

...«третьего дня вечером я был на именинах Варвары Константиновны. Торжество происходило не в квартире, а в актовом зале. Танцевали, ужинали. Девиц и дам было несравненно больше, чем мужчин, было два попа, директор мужской гимназии. Тупиков за ужином, со свойственной ему важностью, сказал длинную речь по моему адресу, после чего я дал себе слово уже больше никогда не ходить в Ялте на ужины. Была именинницей и учительница танцов. Вернулся я домой во втором часу».

**
*

1899

В. И. Немировичу-Данченко, 6 ноября, Ялта.

...
...«Художественный театр — это хорошее название, так бы оставить следовало. А Художественно-общедоступный — это нехорошо звучит, как-то трехполенно».

**
*

В. М. Соболевскому, 6 января.

...
...«О своем водворении в Крыму буду еще подробно писать Вам, теперь же писать об этом не особенно весело, потому что я скучаю по Москве. Скучно и без москвичей, без московских газет, и без московского звона, который я так люблю».

**
*

Миролюбову, 16 января, Ялта.

...«Из существующих портретов я считаю лучшим тот, который помещен в «Истории новейшей литературы» Скабичевского (Морского жителя) — снимок с карточки Шапиро, и тот, который имеется в Москве у Асикритова, да еще, пожалуй, тот, что у сестры, снятый в 1898 в Ницце».

**
*

М. И. Морозовой, 22 января, Ялта.

. . .

...«Вы все сидите на одном месте, а это нехорошо. Жизнь дается только один раз, надо ею пользоваться и кутить во-всю. Добродетелью на этом свете ничего не возьмешь. Добродетельные люди подобны спящим детям».

**
*

М. О. Меньшикову, 27 января, Ялта.

. . .

«Я продаю свои произведения Марксу на вечные времена... Идут переговоры. Получу деньги — и поеду играть в рулетку. Справьтесь, пожалуйста, в редакции «Начала»: продав Марксу свои сочинения, буду ли я иметь право называться марксистом?»

**
*

С. В. Чеховой, 28 января, Москва.

...«Мне очень приятно, что ты была на «Чайке», что я угодил тебе. Мне казалось, что эта пьеса не будет иметь успеха в Москве, а вот она идет уже 10-й раз, и мне из Москвы прислали адрес в красном сафьяновом портфеле за подписью 210 душ, из коих 4 миллионерши, 5 княгинь, одна графиня и одна знаменитая актриса Федотова».

**
*

В. Н. Ладыженскому, 4 февраля, Ялта.

...«Не забывай, пиши, пожалуйста, пиши, памятуя, что живу я в чужой стороне не по своей воле и сильно нуждаюсь в общении с людьми, хотя бы письменном».

**
*

А. С. Суворину, 2 апреля, Ялта.

...«Здоровье мое ничего себе, но вчера и сегодня жар — не знаю, отчего. Читаю усердно «Figaro» и «Temps», сажаю деревья, гуляю, и мне кажется, что моя праздность и весна продолжают уже шестьдесят лет и что не мешало бы теперь на север. Скучна роль человека, не живущего, а проживающего «для поправления здоровья».

**
*

Л. А. Авиловой, 27 апреля, Москва.

«Когда мы увидимся? Мне нужно повидаться с Вами, чтобы передать на словах, как бесконечно я Вам благодарен и как, в самом деле, мне хочется повидаться».

**
*

М. П. Чеховой 29 июня, Москва.

«Был сейчас (29 июня 2 ч. дня) молодой

З а й ц е в*); спрашивал, не продал ли я еще имение. Я ответил:

«— Имение покупает Янов. Решительный ответ должен придти от него завтра в 3 часа. Если мы не сойдемся, то я уведомя Вас телеграммой».

Так я ему ответил. Мелихово ему очень понравилось. Очевидно, Мелихово очень хорошее имение, и жаль что мы не запросили за него 40 тысяч или даже 50».

«Был я сегодня в Ново-Девичьем. Могила отца покрыта дерном, иконка на кресте облупилась».

**
*

О. Л. Книппер, 9 сентября, Ялта.

...«Здравствуйте, милая, драгоценная, великолепная актриса! Здравствуйте, моя верная спутница на Ай-Петри и в Бахчисарай! Здравствуйте, моя радость!»

**
*

О. Л. Книппер, 1 ноября, Ялта.

...«Ваше дело работать исподволь, изо дня в день, втихомолочку, быть готовой к ошибкам, которые неизбежны, к неудачам, одним словом, гнуть свою актрисичью линию, а вызовы пусть считают другие. Писать или играть и созавать в это время, что делаешь не то, что нужно — это так обыкновенно, а для начинающих — так полезно!»

...«мне уже наскучило мое одиночество. Я Иоганнес без жены, не ученый Иоганнес и не добродетельный».

*) Писатель Б. К. Зайцев.

**
*

Куркину, 2 ноября, Ялта.

. . .

...«Они в отчаянии, что волновались, переигрывали, нервничали. Ожидали фурора — и вдруг средний успех, и это волнует молодых артистов. Я работаю уже 21 год и знаю, что средний успех и для писателя и для артиста — самый удобный успех. После большого успеха всегда наступает реакция, выражающаяся в повышенных требованиях и затем в некотором разочаровании и охлаждении — реакция, физиологически объяснимая».

**
*

М. П. Чехову, 3 декабря:

...«с годами я как-то остыл к переписке и люблю только получать письма, а не писать».

...«С Питером я не переписываюсь, к Марксу не обращаюсь, с Сувориным уже давно прекратил переписку (дело Дрейфуса)».

**
*

В. С. Миролубову, 6 декабря.

...«Я пришлю Вам рассказ «Архиерей». В случае какого недоразумения, если он окажется нецензурным для Вашего журнала, вышлю что-нибудь другое...»

**
*

1901

*Ницца, Флоренция, ж е н и т ь б а, Аксеново, Ялта.
Завещание. Всѣ понимал, видел и знал отлично.*

О. Л. Книппер, 2 января, Ницца.

. . .

...«Я тебя люблю, но ты, впрочем, этого не понимаешь. Тебе нужен муж, или, вернее, супруг, с бакенбардами и с кокардой, а я что? Я — так себе. Как бы ни было, все-таки я целую тебя крепко».

**
*

Е. Я. Чеховой, 8 января, Ницца.

...«Скажите Арсению, что землю около хвойных деревьев уваживать нельзя; под сосны и кипарисы можно сыпать только удобренную землю».

«Под новый год был у нас на квартире пирог со счастьем, и счастье досталось мне... Вчера получил письмо от Маши, где она пишет о смерти нашего журавля. А как поживают псы?»

**
*

В. М. Лаврову, 9 января, Ницца.

. . .

«Я поправляюсь, стал много есть; скоро начну писать. Кровохаркания уже нет».

**
*

О. Л. Книппер, 26 января, Ницца.

. . .

...«люблю я путешествовать. Моя мечта последних дней — поездка на Шпицберген летом или на Соловки».

**

Ей же, 29 января, Флоренция.

...«я пишу тебе из Флоренции, где пробуду, вероятно, два дня. Однако скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил».

Ей же, 2 февраля, Рим.

. . .

«Ах, какая чудесная страна эта Италия! Удивительная страна! здесь нет угла, нет вершка земли, который не казался бы в высшей степени поучительным».

**

О. Л. Книппер, Ялта 1 марта.

. . .

«Я лично совсем бросаю театр, никогда больше для театра писать не буду. Для театра можно писать в Германии, в Швеции, даже в Испании, но не в России, где театральным авторов не уважают, лягают их копытами и не прощают им успеха и неуспеха».

Ей же, 7 марта, Ялта.

. . .

...«От Яворской и я удостоился: получил телеграмму насчет «Дяди Вани»! Ведь она ходила к вам в театр с чувством Сарры Бернар, не иначе, с искренним желанием осчастливить всю труппу своим вниманием».

Ей же, 22 апреля, Ялта.

. . .

«В начале мая, в первых числах, я приеду в Москву, мы, если можно будет, повенчаемся и поедем по Волге или прежде поедем по Волге, а потом повенчаемся».

— это как найдешь более удобным. Сядем на пароход в Ярославле».

...«Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Худож. театра 4-актный водевиль или комедию. И я напишу, если ничто не помешает». (Вишневый сад, И. Б.)

**
*

М. П. Чеховой, 2 июня, Аксеново.

...«О том, что я женился, ты уже знаешь. Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановки, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит уже, Бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет, решительно никаких, все останется по-старому. Буду жить так, как жил до сих пор, и мать тоже; и к тебе у меня останутся отношения неизменно теплыми и хорошими, какими были до сих пор».

**
*

В. М. Соболевскому, 9 июня, Аксеново, Уфимской губ.

...
«Ну-с, а я вдруг взял и женился. К этому своему состоянию, то есть к лишению некоторых прав и преимуществ, я уже привык, или почти привык, и чувствую себя хорошо».

**
*

А. Ф. Кони, 12 июня, Аксеново, Уфимск. г.

...
«В Москве доктор Щуровский — очень хороший врач — нашел у меня значительные ухудшения; прежде у меня было притупление только в верхушках легких,

теперь же оно спереди ниже ключицы, а сзади захватывает верхнюю половину лопатки. Это немножко смутило меня, я поскорее женился и поехал на кумыс».

**
*

М. П. Чеховой, 3 августа, Ялта.

«Милая Маша, завещаю тебе в твоё пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, а жене моей Ольге Леонардовне — дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей. Недвижимое имущество, если пожелаешь, можешь продать. Выдай брату Александру три тысячи, Ивану — пять тысяч и Михаилу — три тысячи, Алексею Долженко — одну тысячу и Елене Чеховой (Леле), если она выйдет замуж, — одну тысячу рублей. После твоей смерти и смерти матери все, что окажется кроме дохода с пьес поступает в распоряжение Таганрогского управления на нужды народного образования, доход же с пьес — брату Ивану, а после его, Ивана, смерти — Таганрогскому городскому управлению на те же нужды по народному образованию. Я обещал крестьянам села Мелихова сто рублей — на уплату за шоссе; обещал также Гаврилу Алексеевичу Харченко (Харьков, Москалевка, свой дом) платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение. Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно».

**
*

О. Л. Книппер, 6 ноября, Ялта.

«Ну-с, радость моя, вчера я был у Толстого. Застал его в постели. Ушибся немного и теперь лежит...

Он, повидимому, был рад моему приезду. И я почему-то в этот раз особенно был рад его видеть. Выражение у него приятное, доброе, хотя и стариковское, или вернее — старческое, слушает он с удовольствием и говорит охотно. Крым всё еще нравится ему».

Ей же, 15 ноября, Ялта.

. . .

...«Кто бы ни переводил, все равно толку мало, я ничего не получал и получать не буду. Вообще к переводам этим я равнодушен, ибо знаю, что в Германии мы не нужны и не станем нужны, как бы нас ни переводили».

Ей же, 17 ноября, Ялта.

. . .

«Алексей Максимович не изменился. Одно только в нем, или, вернее, на нем, нескладно — это его рубаха. Не могу к ней привыкнуть, как к камергерскому мундиру».

Ей же, 21 ноября, Ялта.

...«Каждый день что-нибудь мешает жить и писать; сегодня, например, с утра явился Лазаревский (писатель в морской форме) и сидит, сидит, мучительно сидит, и неизвестно, когда его унесет нелегкая».

Ей же, 17 декабря, Ялта.

. . .

«Сейчас по телефону получил известие, что ко мне едет на извозчике турист-венгерец, посещающий всех писателей. Того не знает, что я уже не писатель, а садовник. Женатый садовник, пока еще детей не имеющий, но надеющийся».

1902

Я л т а

О. Л. Книппер, 6 февраля, Ялта.

...«О здоровье Толстого я уже писал тебе и не однажды. Было очень плохо, а теперь можно с уверенностью сказать, что развязка отодвинулась куда-то вглубь, больному лучше и что будет — неизвестно. Если бы он умер, то я бы тебе телеграфировал так: «старика нет».

«Зачем Морозов Савва пускает к себе аристократов? Ведь они наедятся, а потом, выйдя от него, хохочут над ним, как над якутом. Я бы этих скотов палкой гнал».

**
*

В. Г. Короленко, 19 апреля, Ялта.

«Дорогой Владимир Галактионович, жена моя приехала из Петербурга с 39°, совсем слабая, с сильной болью; ходить не может, с парохода переносили ее на руках... Теперь, кажется, немного лучше».

**
*

11 мая, Ялта, П. Ф. Иорданову:

...«Родился я в доме Болотова (так говорит моя мать) или Гнутова, около Третьякова В. Н., на Полицейской улице, в маленьком флигеле во дворе. Дома этого, вероятно, уже нет.

...У Толстого, повидимому, брюшной тиф».

**
*

Чехов едет в Москву 23 мая. В Москве — Неглин-
ный проезд, д. Ганецкой, кв. 21.

**
*

М. П. Чеховой, 2 июня, Москва.

«Милая Маша, у нас опять беда. Вчера под Троицу, в 10 час. вечера, Ольга почувствовала сильные боли в животе (более сильные, чем у нее были в Ялте), начались стоны, крики, плач, доктора все разъехались... Спасибо Вишневецкий явился в полночь и стал бегать по докторам... Всю ночь промучилась Ольга, сегодня утром был доктор; решено уложить ее в лечебницу Штрауха. В одну ночь она сильно осунулась и похудела».

**
*

Ф. Д. Батюшкову, 4 июля, Москва.

• • •
«Я в Москве. Приехал сюда с женой, рассчитывал прокатиться по Волге, но вышло что-то совсем неожиданное: жена, Ольга Леонардовна, вдруг опять заболела».

**
*

В. И. Немировичу-Данченко, 12 июня, Москва.

• • •
«Итак, повторяю, положение тяжелое, но не опасное. Теперь Ольге запрещено все, кроме сливок, и, стало быть, из всех врачей, бывших около нее, оказался правым только я один, запрещавший ей есть».

**
*

О. Л. Книппер, 29 августа, Ялта.

...«Если увидишь Горького на репетиции... — скажи только ему одному — что я уже не академик, что мною послано в Академию заявление, но только ему одному, больше никому».

Ей же, 1 сентября, Ялта.

...«Ты пишешь, что тебя дрожь пробирает при чтении моих писем, что нам пора разлучаться, что ты чего-то не понимаешь во всем... Мне кажется, дуся моя, что во всей этой каше виноват не я и не ты, а кто-то другой, с кем ты поговорила. В тебя вложено недоверие к моим словам, к моим движениям, все тебе кажется подозрительным — и уж тут я ничего не могу поделать, не могу, не могу. И разуверять тебя и предупреждать не стану, ибо бесполезно. Ты пишешь, что я способен жить около тебя и все молчать, что нужна ты мне только как приятная женщина и что ты сама как человек живешь чуждой мне и одинокой... Дуся моя милая, хорошая, ведь ты моя жена пойми это наконец! ты самый близкий и дорогой мне человек, я тебя любил безгранично и люблю, а ты расписываешься «приятной» женщиной, чуждой меня и одинокой... Ну, да Бог с тобой, как хочешь».

«Дуся моя, будь женой, будь другом, пиши хорошие письма».

**
*

И. А. Бунину 11 сентября, Ялта.

«Милый Иван Алексеевич, за что Вы меня оштрафовали? За какую вину? Что я Вам сделал? Почему

вы не прислали мне «Новых стихотворений»? Ах, молодой человек, молодой человек!

Здесь нет дождя, пыль, ветер. Становится холодно. Будьте здоровы и великолепны».

**

О. Л. Книппер, 22 декабря, Ялта

...
...«Опиши ужин после «На дне», что вы там съели и выпили на 800 р. Все опиши возможно подробнее. В каком настроении Бунин? Похудел? Зачах? А Ски-талец все болтается без дела?»

**

1903

Ялта, «Вишневый сад», седая борода, шуба.

К. С. Алексееву (Станиславскому), 5 февраля, Ялта.

...«вчера я получил орден «Чайки», большое безграничное Вам спасибо. Я уже прицепил к цепочке, ношу и буду носить эту милую, изящную вещицу и буду вспоминать Вас».

...«рассчитываю засесть за пьесу и к 20 марту кончу ее. В голове она у меня уже готова. Называется «Вишневый сад», четыре акта; в первом акте в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях».

**

О. Л. Книппер 7 февраля, Ялта.

...
«Время идет быстро! Борода у меня стала совсем седая».

**
*

О. Л. Книппер, 14 февраля, Ялта.

. . .

...«Когда приеду в Москву, не забудь, надо будет заказать мне шубу, очень теплую и, главное, очень легкую. У меня еще отродясь не было сносной, мало-мальски приличной шубы, которая стоила бы дороже 50 рублей».

**
***1904**

Ялта, Москва, Берлин, Баденвейлер.

Ф. Д. Батюшкову, 19 января, Москва.

...«на первом представлении «Вишневого сада» 17 января меня чествовали, и так широко, радушно и в сущности так неожиданно, что я до сих пор никак не могу придти в себя».

**
*

О. Л. Книппер, 24 февраля, Ялта.

...«Ильнарская ездит по всей России с «Вишневым садом» и печатает на афишах: «специальное разрешение на право постановки дано автором В. Н. Ильнарской». Никогда я никаких разрешений не давал».

Ей же, 12 марта, Ялта.

. . .

...«Если в конце июня и в июле буду здоров, то поеду на войну, буду у тебя проситься. Поеду врачом».

**
*

Н. Д. Телешову, 1 марта, Ялта.

...«Когда увидите Бунина и Бабурина, то поклонитесь им, пожалуйста».

**
*

О. Л. Книппер, 8 марта, Ялта:

...«Дуся, в «Русских вед.» чудесно излагается война, особенно морская, неким В. М. Ты приучи себя, читай ежедневно и скоро войдешь во вкус. В. М., как называется, это не моряк-адмирал, как я думал, а простой думский статистик».

**
*

В. А. Гольцеву, 3 июня, Москва.

...«как раз перед отъездом я получил предлагаемое письмо. Это пишет дьякон Любимов, учитель нескольких городских училищ, очень хороший, превосходный человек. Нельзя ли сделать что-нибудь?»

Подумай, голубчик! Дьякон беден и теперь приходится посылать в Дерпт сыну».

**
*

М. П. Чеховой, 6 июня, Берлин.

...«пишу тебе из Берлина, где я живу уже сутки. В Москве после твоего отъезда стало очень холодно, пошел снег и, вероятно, от этого я простудился, началась у меня ломота в ногах и руках, я не спал ночей, сильно похудел, впрыскивал морфий, принимал

тысячи всяких лекарств и с благодарностью вспоминаю только об одном героине, прописанном мне когда-то Альтшуллером».

**
*

Ей же, 16 июня, Баденвейлер.

...«Я живу среди немцев, уже привык к их компании и к режиму, но никак не могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука, только в 7 часов утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо талантливее, а про итальянскую или французскую и говорить нечего».

«Здоровье мое поправилось, я, когда хожу, уже не замечаю того, что я болен, хожу себе и все, одышка меньше, ничего не болит, только осталась после болезни сильнейшая худоба; ноги тонкие, каких у меня никогда не было. Доктора немцы перевернули всю мою жизнь».

«В 7 час. утра я пью чай в постели, почему-то непременно в постели, в 7½ приходит немец вроде масажиста и обтирает меня всего водой, и это, оказывается, недурно, затем я должен полежать немного, встать и в 8 час. пить желудевое какао; и съесть при этом громадное количество масла. В 10 час. овсянка, протертая, необыкновенно вкусная и ароматичная, не похожая на нашу русскую. Свежий воздух, на солнце. Чтение газет. В час дня обед, причем ем не все блюда, а только те, которые, по предписанию доктора-немца, выбирает для меня Ольга. В 4 час. опять какао. В 7 ужин. Перед сном чашка чаю из земляники — это для

сна. *Во всем этом много шарлатанства, но много и в самом деле хорошего, полезного, например овсянка».*

(Подчеркнуто мною. И. Б.)

**
*

Г. И. Россолимо, 17 июня, Баденвейлер.

. . .

...«Здесь я пробуду еще 3-4 недели, потом поеду в северную Италию, потом к себе в Ялту.

Вашего дружеского участия я никогда не забуду».

(Подчеркнуто мною. И. Б.)

**
*

М. П. Чеховой, 26 июня, Баденвейлер.

. . .

...«И ночи здесь теплые. Спим с открытыми окнами, с жалюзи».

**
*

Г. И. Россолимо, 28 июня, Баденвейлер.

. . .

...«У меня все дни была повышенная температура, а сегодня все благополучно, чувствую себя здоровым, особенно, когда не хожу, то есть не чувствую одышки. Одышка тяжелая, просто хоть караул кричи, даже минутами падаю духом. Потерял я всего 15 фунтов весу.

Здесь жара невыносимая...»



М. П. Чеховой, 28 июня, Баденвейлер.

...«здесь жара наступила жестокая, застала меня врасплох, ...я задыхаюсь и мечтаю о том, чтобы выехать отсюда. Но куда? Хотел я в Италию на Комо, но там все разбежались от жары. Везде на юге Европы жарко. Я хотел проплыть от Триеста до Одессы на пароходе, но не знаю, на сколько это теперь, в июне — июле, возможно...»

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

V

Читал книгу профессора Бицилли «Творчество Чехова, опыт критического анализа», (138 страниц), София. 1942 г.

Длиннее этой книги нет на свете!

**
*

...«Показательно, что литературные друзья молодого Чехова, угадавшие его талант, уговаривают его бросить писание мелких рассказов и взяться за роман. Да и сам Чехов — и притом в пору художественной зрелости — соблазнялся этим. Однако, ничего подобного ни “roman fleuve” типа толстовских, ни роману-трагедии Достоевского он не дал. Да и повести его мало чем отличаются от его рассказов. Нет “plot’a”, коллизии, возникающей между персонажами, весьма внешне, круг людей тесен».

??(И. Б.) (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

...«Чеховские герои не врезаются в память подобно героям Толстого или Достоевского, или Флобера, или Диккенса. Они только мелькают перед нами, подобно бледным прозрачным теням, и они, в нашей

памяти, легко перемещаются из одного его рассказа в другой, или просто забываются, — подобно людям, с которыми мы лишь случайно и на короткое время встретились в действительной жизни».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

«И тем не менее, как раз в нынешнее время Чехов, как ж е т с я, получил, наконец, полное признание, как раз теперь его уже не боятся именовать великим писателем. Что самое с этой точки зрения показательное, это, что такой оценки Чехов удостоился всё же раньше не у себя на родине, а в Англии».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

«Позволительно предположить, что чудесный рассказ «Дочь Альбиона» был внушен Чехову одним пассажем из «Фрегата Паллады», где речь идет о нравах английского населения в Сингапуре».

(Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

...«Есть у Чехова одно место в «Степи», кажущееся реминисценцией соответствующего пассажа в III-ьей гл. 1-го тома «Фрегата Паллады», написанной в форме письма к Бенедиктову».

**
*

«Гоголя Чехов знал прекрасно, был глубоко проникнут его влиянием».

(Подчеркнуто мною. И. Б.)

**
*

...«Факт тот, что мало кому из русских классиков Чехов был обязан столь многим, как Тургеневу, что в известном отношении Чехов всю жизнь находился в зависимости от Тургенева».

?! (И. Б.) (Подчеркнуто мною. Ив. Б.)

**
*

«Второе свидетельство — конец «Рассказа неизвестного человека». Он очень близок к концу «Накануне», который очень нравился Чехову. В обеих вещах поездка героя с героиней в Италию, пребывание в Венеции, в обеих герой болен чахоткой; в обеих — передача переживаний контраста прелести Венеции, жизненной радости, веющей от всего, что герой видит там, и трагизма их житейских обстоятельств, сознания, что им не дано насладиться счастьем, возможность которого, казалось бы, открывается перед ними».

Да (И. Б.).

**
*

...«в о. Савве совмещены черты и отца и матери Базарова: о. Савва охвачен чувством материнской, нерассуждающей, благоговейщей любви к сыну. Образ

матери, робеющей перед сыном, благоговееющей перед ним, повторен у Чехова в его совершеннейшей, подводящей итог всему его творчеству вещи, «Архиерей». Лучшее, что есть у Чехова, то есть было внушено ему уже в начале его творческого пути лучшим, что есть у Тургенева».

НВ. Ерунда. (И. Б.).

**
*

...«Ясно, что Тригорин — зашифрованный Чехов». ?! (И. Б.)

**
*

...«Замечу, что есть кое-что общее такое между «Степью» и двумя первыми главами «Отрочества». ?! (И. Б.)

**
*

...«И вот у Чехова есть, так сказать, второе воплощение Акакия Акакиевича: это мелкий чиновник (в рассказе «Крыжовник»), всю жизнь мечтавший о собственной даче, где он будет жить на пенсии и разводить крыжовник, и в конце концов добившийся осуществления своей мечты. Он «влюблен» в свой крыжовник, как Акакий Акакиевич в свою шинель. Оба они пребывают в плане «дурной бесконечности».

Фальшиво, глупо!

**

«Сходство с Гоголем бьет в глаза».
!! (И. Б.).

**

«Замечу кстати, что в своей оценке прозы Лермонтова, и в частности «Тамани», Чехов вполне сходится с Григоровичем».

Григорович был редкий ценитель литературы, а его теперь всякая стерва лягает. (И. Б.)

**

«Не мало случаев употребления казаться и у Тургенева, в творчестве которого «проза» совмещается с «поэзией» и «аналитическая» тенденция подчас вытесняется «синтетической». Но нет писателя, в лексике которого казаться занимало бы такое место как у Чехова. У него это речение попадает едва ли не на каждой странице, во всех его вещах, начиная с самых ранних, и, что всего показательнее, особенно часто в самых ранних, и, что всего показательнее, особенно часто в поздних, и наиболее совершенных, произведениях. Так в «Даме с собачкой» — 18 раз; в «Архиерее» — 20, при чем здесь кроме казалось, ему казалось, есть еще и сходные (несинонимные) речения: представлялось, похоже было, что и т. под.».

А в конце концов какая это мука — читать это дьявольское занятие Бицилли! Непостижимо, что он не спятил с ума после него! (И. Б.)

**
*

«Объекты восприятий размещены в соответствии с тем, какими органами чувств они воспринимались: носом, ушами, глазами. Это, во-первых. Во-вторых, сперва подан «фон», затем «жанр»...»

О, Боже мой! (И. Б.).

**
*

«Но может быть все ближе Чехов в том, что касается свободы распределения перечисляемого и сочтённого *посредством союза и к Помяловскому*, сколь это ни кажется удивительным».

! (И. Б.). (Подчеркнуто мною. И. Б.).

**
*

«В «Степи» между ними и повествованием нет никакой грани. Один из критиков, Оболенский, отвечал «многим спрашивающим с недоумением, что Чехов хотел сказать своим этюдом», «какая в нем идея», там есть: это контраст между величию природы и человеческой мелкотой, порочностью, низостью, убожеством. Он сожалел только, что степь изображена все же недостаточно величественно и к тому же слишком бледно, бесцветно».

...Я знал этого Оболенского — очень глупый человек! (И. Б.).

**
*

«Аналогия между «Степью» и «Душечкой» очевидна. И здесь и там ритмика создается посредством «возвратов» к той или другой теме: тема езды и тема остановки в «Степи» и «Душечке» — тема счастья и тема его утраты. Но есть и глубокое различие. Там

монотонность устраняется, как мы видели, самим сюжетом. Здесь, напротив, сюжет предполагает ее.

О, Боже мой! (И. Б.).

**
*

«По мнению В. Мейерхольда, говорит С. Балухатый (*ib.* 302), основная особенность драматургического стиля Чехова — импрессионистски брошенные на полотно образы — дает выгодный для режиссера материал для дорисовывания их в яркие, определенные фигуры (типы)».

О!! (И. Б.).

«...«письмо Мейерхольда Чехову по поводу постановки «Вишневого сада»».

«Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом прежде всего. В третьем акте на фоне группового топотания — вот это «топотание» нужно услышать — незаметно для людей входит Ужас. «Вишневый сад» продан». Танцуют. «Продан». Танцуют. И так до конца».

! (И. Б.)

«Мейерхольд причислял Чехова к символистам и считал, что его пьесы должны быть инсценированы не «реалистически» (как в Худ. Театре), а «символически».

...«если бы «Вишневый сад» или «Чайка» были поставлены так, как ставились «Балаганчик», «Незнакомка», или как Треплев хотел поставить свою «мистерию», то Чехов, столь ценивший «правдивость», «натуральность в искусстве», т. е. соответствия искусства с повседневной действительностью, пришел бы в ужас».

Конечно. (И. Б.)

**

«Один из умнейших людей нашего времени и тончайший ценитель искусства, Олдус Хёксли, в своей книге “Along the Road” (изд. “Albatros”, стр. 39) говорит, что рассказы Чехова «утомляют». Он объясняет это тем, что Чехов, в отличие от его почитательницы Екатерины Мансфильд, не ограничивается тем, что «разглядывает своих людей сквозь окошко», но «живет с ними» (здесь Хёксли сходится с Толстым, назвавшим Чехова «художником жизни»). Люди же Чехова, как известно «хмурые», т. е. в сущности скучные люди. Мне кажется, что Хёксли выражается неточно. Пусть жизнь, изображаемая Чеховым, бессодержательна, уныла, скучна, — на это всегда жалуются сами же ее участники, — все же это у Чехова лишь материал. *Его совершеннейшие рассказы не могут «утомлять», именно от того, что они — совершенны».*

Это, да. (И. Б.). (то, что я подчеркнул.)

**

...«Не говоря уже о мотиве “qui pro quo” — в прямом значении — как о сюжетной основе, и об этих внешних «сцеплениях», в «Рассказе» немало и других шаблонов, присущих «классическому» авантюрному роману — и при том таких, каких не найти ни в «Дубровском», ни в «Капитанской дочке». Это шаблоны чисто внешнего характера».

Все-таки все это вздор — «Рассказ неизв. человека» все-таки замечательный! (И. Б.).

**

«В аналогичном отношении находятся между собою еще две вещи Чехова «Палата № 6» и «Гусев». Общей рамки у них нет. Но обе они опять-таки — два варианта одной темы, — не красовской «Больницы», при чем второй рассказ является как бы попыткой углубления ее и вместе с тем «ответом» на первый».

!! (И. Б.). Подчеркнуто мною (И. Б.).

**
*

«Пассажиры больничной каюты обречены смерти оттого, что ни одному из них, повидимому, не выдержать длительного океанского перехода в невыносимой духоте. Трое из них умирают на протяжении повествования. Кстати, еще одно совпадение: эпизоды, символизирующие попытку «освобождения», — это в первом рассказе, поездка Андрея Ефимыча накануне того, как он попал в западню, но когда западня уже была изготовлена; во втором, — попытка Гусева выйти на палубу освежиться. Но ничего из этого не выходит».

Боже, что лезет в голову Бицилли! (И. Б.).

Гусев первоклассно хорош! Я его читал Чехову, дико хвалил, он был взволнован, молчал! (И. Б.).

**
*

«Архиерей», наряду с «В овраге», знаменует собою высшую точку в чеховском творчестве». Подчеркнуто мною (И. Б.).

...«Он осуществил вполне то, что уже давно составляло цель его творческих стремлений, дать кар-

тину, «в которой (бы) все частности, как звезды на небе, слились в одно общее».

...«к этой вещи вела его вся предшествующая работа, что здесь действовала имманентная художническая судьба. Особо показательно, что с «Архиереем», так сказать, перекликаются как раз самые совершенные произведения».

**
*

«Арх.»: «Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы, и черные тени, и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось, теперь, жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку». Ср. «Ионыч»: «Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи, и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым... На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь (...): мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную...»

Как хорошо! (И. Б.).

**
*

«Образ архиерея, вышедшего в люди из низов духовного сословия благодаря своей даровитости, и перед смертью сожалеющего о утраченном прошлом, в зародыше уже как бы заключен в образе дьякона в «Дуэли».

?! (И. Б.).

**
*

«В одном пассаже к а з а т ь с я употреблено три раза (...)».

Сидит считает, считает. (... И. Б.).

**

*

...«С каждым днем архиерею становилось все хуже и хуже, наконец, наступает агония:

«П р и е з ж а л и три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, непомерно длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить».

«Скрытая и р о н и я этого «долго жить» подготовлена предшествующим «длинный» (день), «долго-долго» (проходила ночь)».

Какая ирония? Обычное выражение — «Прик. долго жить». (И. Б.).

Ни одно произведение Чехова не написано так — легко, небесно — как «Арх.». (И. Б.).

**

*

...«Не лишнее сопоставить Чехова с его даровитейшим последователем Куприным. У Куприна немало мест, которые, взятые отдельно, легко могут быть приняты за принадлежащие Чехову».

?! (И. Б.).

**

*

«Еще ближе к Чехову Куприн в рассказе «Ночная смена». Здесь не только всюду слышится чеховская речь (напр. фразы, начинающиеся с «И к а ж е т с я»...»).

Половина этого рассказа почти продиктована Куприну мною! (И. Б.).

**
*

...«от его писем (Чехова. И. Б.) веет такой же душевной теплотой, как и от его художественных произведений».

Очень глупо! (И. Б.).

**
*

«Чужая беда». Супруги Ковалевы покупают с торгов усадьбу разорившегося помещика. Жене Ковалева тяжело пользоваться «чужой бедой», но она уступает воле мужа».

«Здесь разительное совпадение Чехова с Райнером-Мария Рильке. Я имею в виду одно место в «Заметках Мальте Лауридс Бригге», где alter ego автора говорит о том ужасе, той тревоге, какими он был охвачен при виде стены подвергшегося ломке дома, от которой еще веяло «упорной жизнью», оставившей на ней свои следы».

! (И. Б.).

**
*

«Вместе с Прустом следует упомянуть еще одного крупного романиста той же поры, у к о т о р о

го тоже не мало общего с Чеховым. Это Томас Манн».

!! (И. Б.).

**
*

«У С. Балухатого (1. 105) есть ценное указание на реминисценции чтения Размышления Марка Аврелия, видимо любимой книги Чехова».

**
*

«Чехов один из ярчайших выразителей духовных тенденций своей эпохи — и тем самым, как все большие художники, принадлежит вечности: ибо каждый «эон» раскрывает в себе все, что таилось во всех предшествующих, и кроет в себе все, чему суждено обнаружиться в последующих. Вот почему не только Рильке, Пруст, Ален-Фурнье и Т. Манн «перекликались» с Чеховым, но и сам Чехов столько раз «перекликался с античным мудрецом».

Это уже совсем чорт знает что! (И. Б.). Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Все же чеховская «реформа» не прошла бесследно. Ближайшие по времени к Чехову и находившиеся под его влиянием художники прозаического слова, Горький, Куприн, Бунин, восприняли ее безоговорочно».

Ерунда! (И. Б.). Подчеркнуто мною. И. Б.

Ермилов. «Антон Павлович Чехов». Государственное издательство художественной литературы. Москва 1953 г.

В книге Ермилова попадаются места не плохие. Даже удивительно, что он написал о высказываниях Чехова.

«Чехов часто высказывался против «тенденциозности» в литературе, особенно во второй половине восьмидесятых годов».

«— Если все известные мне политические группы или «партии» мелкотравчаты, ложно-тенденциозны, то лучше я буду вне каких бы то ни было групп и партий, вне политических тенденций, чтобы никакие шоры, никакая политическая узость и догматизм не мешали исполнению моего долга художника: правдивому, честному, независимому, объективному изображению русской жизни, какая она есть в реальной, трезвой действительности, а не в иллюзорных, схематических, узко-групповых представлениях... сектантов... вот тогдашнее умонастроение Чехова».

Но дальше у него пошла ерунда:

О рассказе «Невеста»:

«Чудесный образ русской девушки, вступившей на путь борьбы за то, чтобы перевернуть жизнь, превратить всю родину в цветущий сад».

Перевернули! Превратили! Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Грянула очистительная буря, и родина наша начала превращаться в прекрасный сад, законы ее жизни стали законами правды и красоты».

«Какое наслаждение уважать людей! — записал в своей записной книжке Чехов».

Мы узнали это наслаждение.

**
*

...«В нашей стране ненавидят все то, что принижает человека и его достоинство; в стране тружеников и новаторов ненавидят чванство, спесь, самодовольство, здесь любят правду, мысль, красоту, скромность... И поэтому в нашей стране так любят Чехова, любят его сатиру, помогающую нам выжигать из жизни все прогнившее, омертвевшее, все, что мешает победоносному движению нашей родине вперед».

Более бесстыжих во всей истории человечества не бывало!

Читая сборник «Чехов в воспоминаниях современников». Государственное издательство художественной литературы. 1952 г. Москва.

П р е д и с л о в и е А. К о т о в а.

«Особое место в мемуарной литературе о Чехове занимают воспоминания о нем Горького, который с наибольшей полнотой донес до нас духовный облик и передал подлинные черты живого Чехова. Выступление Горького со статьей о рассказе Чехова «В враге», а позднее — с мемуарным очерком положило начало новому пониманию творчества Чехова».

Нечто чудовищное по идиотской брехне, по бесстыдству! (И. Б.).

**
*

...«Естественным было тяготение Чехова к более родственной для него среде, такой была группа ху-

дожников-реалистов во главе с Левитаном, Васнецовым и Коровиным».

С Васнецовым и Коровиным Чехов даже знаком не был! (И. Б.).

**
*

«Противоречит также истине заявление Щеглова, что Чехов якобы не любил театра». (стр. XI).

Да, не любил! Ив. Б.

**
*

«Характерные высказывания Чехова в разговоре его с В. Ф. Коммиссаржевской, приводит в своих воспоминаниях Е. П. Карпов».

Лгун, дурак. (И. Б.).

**
*

«Нередко Чехов говорил о революции, которая неизбежно и скоро будет в России, — свидетельствует Телешов».

А вот мне не говорил! (И. Б.).

**
*

«Горький, раскрывший величайшее значение социалистической революции, когда творчество Чехова стало доступно самым широким массам».

А до Октября не было доступно? (подчеркнуто мною. И. Б.).

В. А. С и м о в. «Из воспоминаний о Чехове».

«Дела давно минувших дней... когда вспоминаешь этот и другие, несколько видоизмененные рассказы Чехова, понимаешь, что подобные темы были не беспочвенным зубоскальством, а своего рода протестом против отрицательных явлений нашей невеселой русской действительности».

Дожили наконец до «веселья!» (И. Б.).

**
*

В конце воспоминаний Симова написано:
«Очень плохо».

В. Г. К о р о л е н к о. «Антон Павлович Чехов».

«К третьему периоду я бы отнес рассказы, а пожалуй, и драмы последних годов, в которых звучит и стремление к лучшему, и вера в него и надежда. Через дымку грусти, порой очень красивой, порой разъедающей и острой, и всегда поэтической, эта надежда сквозит, как куполы церквей дальнего города, едва видные сквозь знойную пыль и удушливый туман трудного пути... И над всем царит меланхолическое сознание:

Жаль только: жить в эту пору прекрасную

Уж не придется ни мне, ни тебе...»

Вы, Короленко, все-таки пожил немного в эту «пору прекрасную!» (И. Б.). Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но редко волнуя... Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости ко всей семье».

«А нотки задумчивости, лиризма и особенной, только Чехову свойственной печали, уже прокрадывавшейся кое-где сквозь яркую смешливость».

Ох! (И. Б.). Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Скорбные мотивы злополучной русской действительности... природным залежам смеха... великое уныние русской жизни... со жгучей скорбью».

Во многих строках язык просто постыдный!
(И. Б.). Подчеркнуто мною. И. Б.

Р е п и н. «О встречах с Чеховым».

...«Враг сентиментов и выпренних увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества».

!! (И. Б.). Подчеркнуто мною. И. Б.

А. С. Лазарев-Грузинский. «А. П. Чехов».

«В сумбурной статье Н. М. Ежова («Исторический вестник», 1909 г.), автор уверяет, что переписка Чехова не может дать о нем надлежащего представления, ибо в письмах своих Чехов «п р и х о р а ш и в а л с я».

Ежов был отвратительный человек! (И. Б.).

**
*

«В письменном столе Чехова вечно лежали чужие рассказы, он исправлял их, рассылал в те издания, где сам работал, даже в те, где сам не работал... давал советы начинающим авторам, если видел в них хотя тень дарования; хлопотал об издании книг».

**
*

...«Среди писательских заветов Чехова восьмидесятих годов неизменно было предостережение против тенденциозности и возвращался к этому вопросу с каким-то постоянным и странным упорством... каждый раз наш разговор на эту тему заканчивался фразой Чехова:

— И что бы там ни болтали, а ведь вечно лишь то, что художественно».

...«его писательский организм реагировал на те упреки в безразличии, «безучастии» и даже «беспринципности», которые по адресу Чехова рассыпали Михайловский, Скабичевский и другие специалисты критических дел».

**
*

...«Мне же Чехов показался всего более похожим на интеллигентного, бесконечно симпатичного студента, каким в сущности он и был года за два, за три до нашей встречи».

Верно. (И. Б.).

**
*

«От публичных выступлений его удерживал по его собственному признанию беспричинный и глупый страх толпы, чувство, которое было для него непреодолимым. В небольшой компании не было человека общительнее его».

«Чехов не пытался уединиться; не пытался потому, что был не уединенный, а необычайно общественный человек».

**
*

«Чехов творил очень медленно, вдумчиво».

...«У Чехова слишком много было внутренней творческой силы...»

**
*

«Несмотря на наружную сдержанность, в характере Чехова было много азарта, страсти, увлечения тем делом, за которое он брался».

**
*

«Искусство писать, — говорил он мне, — состоит собственно не в искусстве писать, а в искусстве... вычеркивать плохо написанное».

И. Л. Щ е г л о в. «Из воспоминаний об Антоне Чехове».

«Антон Чехов по своей хохлацко-казацкой натуре был очень далек от педантичности Вольфганга Гёте».

Гёте в молодости и позднее не был педантичен. (И. Б.).

**
*

...«была какая-то срочная работа... Я видел, как он уселся за письменный стол, как-то по-стариковски сторбившись, и снова взявшись за перо».

**
*

«Тем более чести Петербургу, что он первый «открыл» Чехова — и поддержал его морально. Москва (то есть в сущности московская интеллигенция) очень много шумела на его похоронах и много перепортила могильных цветников в Новодевичьем монастыре».

**
*

...«живя в Москве, ему меньше всего времени было думать о Москве: приходилось исключительно

думать о хлебе насущном и писать, писать, писать...»

**
*

...«но вам не переспорить моей нелюбви к эшафотам, где казнят драматургов. Современный театр — мир бестолочи, тупости и пустозвонства». (из письма Чехова).

**
*

...«была груба до неприличия «обида непонимания», отметившая представление «Чайки»... Это была смертельная обида в буквальном смысле...»

**
*

«Я думал о печальной участи одного из самых правдивых русских писателей...»

**
*

«Лицо было желтое, изнеможенное, он часто кашлял и зябко кутался в плед, несмотря на то, что вечер был на редкость теплый...»

**
*

...«вот, небось, критика распинается за «Мужиков», — сказал Щеглову Чехов, а о «Моей жизни» — ни гу-гу!»

«Я указал, — пишет Щеглов, — на роман самого Л. Толстого «Семейное счастье», — вещь и зумительную по тонкости и глубине — и тоже почти пропущенную критикой».

Да. (Подчеркнуто мною. И. Б.).

**
*

...«Не раз жаловалась мне мать Чехова, добрейшая и гостеприимнейшая Евгения Яковлевна.

— Уж мы прячем Антошу, прячем, — все-то ему мешают! — говорила она мне вздыхая».

И. Н. П о т а п е н к о. «Несколько лет с А. П. Чеховым».

...«он как будто старался как можно меньше отличаться от всех. Он тогда прятал себя».

«Сближение наше шло очень медленно... У меня это происходило скорее от неуверенности в себе, у него же, как я думаю, от осторожности... Его всегдашнее спокойствие, ровность... тщательно бережет свою душу от постороннего глаза».

**
*

...«н и к о г д а о н н е п и с а л в присутствии кого бы то ни было...»

Нет писал, но в молодости в пору Лейкина. (Подчеркнуто мною. И. Б.).

**
*

...«Я пел. Антон Павлович обыкновенно заказывал те вещи, которые ему особенно нравились.

Большим расположением его пользовался Чайковский».

**
*

...«и он сам пел, — правда не романсы, а церковные песнопения. Им научился он в детстве, когда под руководством отца пел в церкви...»

«У него был довольно звучный басок. Он отлично знал церковную службу и любил составлять домашний импровизированный хор. Пели тропари, кондаки, стихири, пасхальные ирмосы. Присаживалась к нам и подпевала и Марья Павловна, сочувственно гудел и Павел Егорович, а Антон Павлович основательно держал басовую партию».

**
*

«Вообще по отношению к болезням он проявлял какое-то ложное мужество. Он как будто стыдился слишком много заниматься ими, считал это малодушием».

...«человек несомненно сильной воли». (Подчеркнуто мною. И. Б.).

**
*

...«Чехов не был ни ангелом, ни праведником, а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутренней борьбы».

**
*

...«если полноте переживаний часто мешали его осторожность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность, то причиной этого был талант, который требовал от него большой службы».

**
*

«Чехов-человек страдал от этого. Испытывая постоянно потребность в нежности, он до самых последних лет был лишен личной жизни. Он думал, что она отнимет у него, как у художника, слишком много внимания и сил. И когда наконец он позволил себе эту роскошь, вот какими словами он определил свое состояние:

«Ты спрашиваешь, правда ли, что я женился? Это правда, но в наши годы это уже ничего не меняет».

...«и в этой грустной оговорке сказалось сознание, что большое личное благо он допустил к себе слишком поздно».

**
*

«Чехов нуждался... считалось в порядке вещей, чтобы писатель нуждался, и чуть ли не прямо пропорционально его таланту.

Ведь незадолго перед тем нуждался и умер в нужде Достоевский. А после него нуждался Гаршин и Надсон. У всех это вызывало сочувствие, но никто не удивлялся. Так полагалось».



...«Я зарабатываю, чорт знает, как мало».

Это было в 1895 году, то есть когда имя Чехова уже сияло. И тот же крик у него повторяется из года в год.

...«Я до такой степени измотался постоянными мыслями об обязательной, неизбежной работе... что вот уже неделя, как меня безостановочно мучат перебои сердца...»

...«И это не выдумка и не преувеличение. Душе его было тесно в пределах Москвы, Петербурга и Мелихова, ему хотелось видеть, как можно больше, весь свет...».



...«он постоянно убеждал Щеглова: «бросьте вы театр. Ведь это же, в сущности, лазарет самолюбий, за исключением, может быть, дюжины настоящих талантов, всё страдающее *mania grandiosa*».

Всё хорошо написано. И. Б.

Т. Л. Щепкина-Куперник. «О Чехове». ...«Лица была девушка необыкновенной красоты. Настоящая «Царевна Лебедь» из русских сказок». (Подчеркнуто мною. Ив. Б.).

**
*

...«кабинет А. П. — с этими светлыми, как его взгляд на мир, окнами...» Подчеркнуто мною. ?! И. Б.

**
*

«Даже когда А. П. хвалил меня, то большей частью делал это под соусом шутки». Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«С Яворской у Чехова были двойственные отношения. Она ему то нравилась, то не нравилась, и безусловно интересовала его как женщина». Подчеркнуто мною.

**
*

«По-моему, самое существенное в Чехове — это раскрепощение рассказа от власти сюжета». (Подчеркнуто мною. И. Б.).
Точно до него не было Толстого! (И. Б.).

**
*

...«все это рассказы, написанные кровью сердца».

! И. Б. Подчеркнуто мною.

**
*

...«Я пришла к Чехову. О. Л. участвовала в каком-то концерте. За ней приехал корректный Немирович-Данченко во фраке с безупречным белым пластронном. О. Л. вышла в нарядном туалете, повеяло тонкими духами, ласково и нежно простилась с А. П., сказав ему на прощанье какую-то шутливую фразу, чтобы он без нее не скучал и «был умником», — и исчезла.

А. П. поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял. Поднес свою баночку к губам и, когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим предыдущим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний Мелихова, прошлого, общих друзей:

— Да, кума... помирать пора».

**
*

...«Я застала там какую-то молодежь, пришедшую поклониться праху любимого писателя. С башенных часов, отбивавших каждую минуту, слетали как жемчужины и падали в вечность минуты». (Подчеркнуто мною. И. Б.).

**
*

«— Меня будут читать лет семь, семь с половиной, — говорил он, — а потом забудут».

Это украдено у меня. (И. Б.).

**
*

«Но потом пройдет еще некоторое время — и меня опять начнут читать и тогда уже будут читать долго».

А это выдумала Щепкина. (И. Б.).

**
*

«Промчавшаяся буря первых годов революции на время заслонила от нас его задумчивый образ».

Буря! Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Я иногда задумывалась над тем, что делал бы Чехов, как он поступал бы, если бы ему суждено было дожить до великой революции. И у меня всегда готов ответ: Чехов был настоящий русский писатель, настоящий русский человек. Он ни в каком бы случае не покинул родины и с головой ушел бы в строительство той новой жизни, о которой мечтал и он и его герои».

Несчастливая старуха! (Подчеркнуто мною. И. Б.).

**
*

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Московском Художественном театре.

...«Мне трудно покаяться в том, что Антон Павлович был мне в то время мало симпатичен.

Он мне казался гордым, надменным и не без хитрости. ...Привычка ли глядеть поверх говорящего с ним, или суетливая манера ежеминутно поправлять пенсне делали его в моих глазах надменным и неискренним». (! И. Б.) Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Он прямо подошел ко мне и приветливо обратился со следующими словами:

— Вы же, говорят, чудесно играете мою пьесу «Медведь». Послушайте же, сыграйте же».

**
*

«— Послушайте! это же чудесно, — говорил он в таких случаях, и детски чистая улыбка молодила его». Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Второй период нашего знакомства с Антоном Павловичем богат дорогими для меня воспоминаниями.

Весной 1897 года зародился Московский Художественно-общедоступный театр».

Глупо! (Подчеркнуто мною. И. Б.)

**
*

...«Тем не менее в августе 1898 года «Чайка» была включена в репертуар. Не знаю каким образом В. И. Немирович-Данченко уладил это дело.

Я уехал в Харьковскую губернию писать *mise en scène*. Это была трудная задача, так как к стыду своему я не понимал пьесы. И только во время работы, незаметно для себя я вжился и бессознательно полюбил ее. Таково свойство чеховских пьес. Поддавшись обаянию, хочется *вдыхать их аромат*». Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

В публике успех был огромный, а на сцене была настоящая Пасха. Целовались все, не исключая посторонних, которые ворвались за кулисы. Кто-то *валялся в истерике*. Многие, и я в том числе, от радости и возбуждения *танцевали дикий танец*.

Фу! Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

— Послушайте же, — шептал он ему убедительно, плотно притворяя дверь, — скажите же ему, что

я не знаю его, что я же никогда не учился в гимназии. У него же повесть в кармане, я же знаю. Он останется обедать, а потом будет читать... Нельзя же так. (Подчеркнуто мною. Ив. Б.).

**
*

Исполнение одной из ролей он осудил строго до жестокости. Трудно было предположить ее в человеке такой исключительной мягкости. А. П. требовал, чтобы роль была отобрана немедленно. Не принимал никаких извинений и грозил запретить дальнейшую постановку пьесы.

**
*

«Для меня центром явился Горький, который сразу захватил меня своим обаянием. В его необыкновенной фигуре, лице, выговоре на о, необыкновенной жестикуляции, показывании кулака в минуты экстаза, в светлой, детской улыбке, в каком-то временами трагически проникновении в лицо, в смешной или сильной, красочной, образной речи сквозили какая-то душевная мягкость и грация, и, несмотря на его сутулую фигуру, в ней была своеобразная пластика и внешняя красота. Я часто ловил себя на том, что люблю сь его жестом или позой». (Подчеркнуто мною. И. Б.).

Да, Станиславский был очень глуп.

**
*

...«раскрытое окно, с веткой белых цветущих вишен, в л е з а ю щ и х из сада в комнату». Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Спектакль налаживался трудно — и не удивительно: пьеса трудная. Ее прелесть в неуловимом, глубоко скрытом аромате. Чтобы почувствовать его, надо как бы вскрыть почку цветка и заставить распуститься его лепестки. Но это должно произойти само собой, без насилия, иначе сомнешь нежный цветок, и он завянет».

(! И. Б.).

**
*

«— Послушайте! — рассказывал кому-то Чехов, но так, чтобы я слышал, — я напишу новую пьесу, и она будет начинаться так: «Как чудесно, как тихо! Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, ни совы, ни соловья, ни часов, ни колокольчиков и ни одного сверчка».

Конечно, камень бросался в мой огород».

**
*

«Вишневый сад» — тяжелая драма русской жизни».

А он считал ее комедией и уверял, что Алексеев и Немирович не дочитали этой пьесы до конца... (И. Б.)

**

«В первый раз с тех пор, как мы играли Чехова, — приводит в своей книге Ермилов отрывок из воспоминаний Станиславского, — премьеры его пьесы («Вишневый сад») совпала с пребыванием его в Москве ...при том же первое представление совпало с днем именин Антона Павловича — 17 января 1904 года».

...«надо было подумать и о самом чествовании и о подношениях Антону Павловичу. Трудный вопрос. Я объездил все антикварные лавки, надеясь там набрести на что-нибудь, но, кроме великолепной шитой музейной материи, мне ничего не попало. За неимением лучшего пришлось украсить ею венок и подать его в таком виде...

— Послушайте, ведь же чудесная вещь, она же должна быть в музее, — попрекал он меня после юбилея.

И все другие подарки, поднесенные Чехову, не удовлетворили его, а некоторые так даже рассердили своей банальностью.

— Нельзя же, послушайте, подносить писателю серебряное перо и старинную чернильницу.

— А что же нужно подносить?

— Клистирную трубку. Я же доктор, послушайте. Или носки. Я же в рваных носках хожу. «Послушай, дуся, — говорю я ей, — у меня палец на правой ноге вылезает». — «Носи на левой ноге», говорит. Я же не могу так! — шутил Антон Павлович и снова закатывается веселым смехом».

Думаю, что это дурацкая и гадкая выдумка чья-то — ужели Станиславского?

**

«Еще менее мне понятно, почему Чехов считается устаревшим для нашего времени и почему существует

мнение, что он не мог бы понять революции и новой жизни, ею созданной?

Было бы, конечно, смешно отрицать, что эпоха Чехова чрезвычайно далека по своим настроениям от нынешнего времени и новых воспитанных революцией поколений».

**
*

«Тогда среди удушливого застоя в воздухе, не было почвы для революционного подъема. Лишь где-то под землей, в подпольях, готовили и накапливали силы для грозных ударов. Работа передовых людей заключалась только в том, чтобы подготавливать общественное настроение, внушать новые идеи, разъясняя несостоятельность старой жизни. И Чехов был заодно с теми, кто совершал эту подготовительную работу».

**
*

«Время шло. Вечно стремящийся вперед Чехов не мог стоять на месте. Напротив он эволюционировал с жизнью и веком».

**
*

«По мере того как сгущалась атмосфера, и дело приближалось к революции, он становился все более решительным».

**
*

«В художественной литературе конца прошлого и начала нынешнего века он один из первых почувствовал неизбежность революции, когда она была лишь в зародыше, и общество продолжало купаться в излишествах».

И он!!

**
*

«Человек, который за долго предчувствовал многое из того, что теперь совершалось, сумел бы теперь принять всё предсказанное им».

И Станиславский не посмел не написать этих последних двух страниц!

Вл. И. Немирович-Данченко. «Чехов».

«Передо мной три портрета Чехова, каждый выхвачен из куска его жизни». (! И. Б.) Подчеркнуто мною. Ив. Б.

**
*

...«вождь тогдашней молодежи Михайловский не перестает подчеркивать, что Чехов писатель безидейный, и это влияет, как-то задерживает громкое и единое признание».

А между тем Лев Толстой говорит:

«Вот писатель, о котором и поговорить приятно».

**
*

«А старик Григорович идет еще дальше. Когда при нем начали сравнивать с Чеховым одного мало даровитого, но очень «идейного» писателя, Григорович сказал:

— Да он недостойн поцеловать след той блохи, которая укусит Чехова.

А о рассказе «Холодная кровь» он сказал, правда почти шопотом, как что-то очень дерзкое:

— Поместите этот рассказ на одну полку с Гоголем, — и сам прибавил: — вот как далеко я иду».

**
*

...«он поставил свою первую пьесу «Иванов» в частном театре Корша. Написал он «Иванова» в восемь дней залпом. Предлагать на императорскую сцену он и не пытался. Отдал в частный театр Корша. Там в это время служил чудесный актер Давыдов».

Вот Давыдов был действительно чудесный! (И. Б.)
Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

...«я не знаю, был ли Антон Павлович вообще с кем-нибудь очень дружен. Мог ли быть?»

Думаю, что нет.

**
*

...«К матери у него было самое нежное отношение... И вся она была тихая, мягкая, необыкновенно приятная».

Верно.

**
*

«Отец. Я встречал его редко. Осталось в памяти у меня невысокая, суховатая фигура с седой бородой и с какими-то лишними словами».

Хорошо сказано.

**
*

«В доме Чехова вообще не очень любили раскрывать свои души».

**
*

Ленский был первый актер Малого театра... Один из самых обаятельных русских актеров. По богатству обаяния с ним будут сравнивать со временем только Качалова...

Письмо было по поводу «Чайки». Оказалось, Ленский уже прочитал ее, и вот что он (Чехову. И. Б.) писал:

«Вы знаете, как высоко я ценю ваш талант, и знаете, как вообще люблю Вас. И именно поэтому я обязан быть с Вами совершенно откровенен. Вот вам мой самый дружеский совет: бросьте писать для театра. Это совсем не Ваше дело».

В. И. Качалов. «Воспоминания».

Речь Чехова:

— «Он же сам...»

— «Хм. Да не знаю же...»

— «Больше же ничего, там же все написано...»

И этот с этим «же»!...

Подчеркнуто мною. И. Б.

М. Горький. «А. П. Чехов».

Все фальшиво! Не хватило у меня сил дочитать.

(И. Б.)

А. И. Куприн. «Памяти Чехова».

«Странно — до чего не понимали Чехова! Он — этот «неисправимый пессимист» как его определяли, — никогда не уставал надеяться на светлое будущее».

Ох, уж эта «вера Чехова» в «светлое будущее»!
Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«— Послушайте, а знаете, что ведь в России через десять лет будет конституция.

Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество».

Подумаешь, какая это радость для «человечества»!.. Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Повидимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставить».

Вздор! (И. Б.).

«Ни с кем не делился своими впечатлениями, не говорил о том, что и как собирался он писать».

Вздор. (И. Б.).

Н. Д. Телешов. «А. П. Чехов». (тут же и выдержки из книги Телешова «Записки писателя», 1949 года. ОГИЗ. Москва).

**
*

«Недаром же в пьесе его «Три сестры» говорится: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества день, равнодушные, предубеждение к труду, гнилую скуку». А в дальнейшем он предвидел необычайный расцвет народной жизни и счастливое, радостное будущее».

Слава Богу, не дожил!

**
*

Никаких сомнений и в том, как относился сам Чехов к Художественному театру. В одном из его писем

значится: «Художественный театр — это лучшие страницы той книги, которая когда-либо будет написана о современном русском театре».

(См. воспоминания Тихонова. И. Б.) Мало ли, что он писал!

**
*

«Бунин отчасти за свою худобу, отчасти за остро-словие, от которого иным приходилось солоно, назывался Живодерка». (Такая была улица в Москве, всем писателям был придуман адрес.)

**
*

...У Горького ...«уже созревал план пьесы «На дне». Осенью пьеса была закончена и прочитана на «Среде», а затем поставлена в Художественном театре. Сначала она называлась «На дне жизни» и под этим заглавием была напечатана за границей».

Это Андреев посоветовал выкинуть слово «жизнь» (И. Б.)

**
*

«Творчество Чехова многогранно, лирика его поэтична, юмор его неисчерпаем, а вера в лучшее будущее человечества непоколебима».

Будто бы? Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«Недаром Лев Николаевич Толстой говорил о нем: — Чехов — это Пушкин в прозе».

Когда, кому он это говорил? и сравнение-то глупое.

В. В. Вересаев. «А. П. Чехов».

...«чувствовалось и по его произведениям, что он человек глубоко аполитический, общественными вопросами совершенно не интересуется, при разговорах на общественные темы начинает зевать. Что стоила одна его дружба с таким человеком, как А. С. Суворин, издатель газеты «Новое время». Теперь это был совсем другой человек; видимо, революционное электричество, которым в то время был перезаряжен воздух, встряхнуло и душу Чехова. Глаза его разгорались суровым негодованием, когда он говорил о неистовствах Плеве, о жестокости и глупости Николая II».

Брехня. Подчеркнуто мною. И. Б.

**
**

...«под конец жизни Чехов сделал, — пускай неудачную, от которой сам потом отказался — но все-таки попытку вывести хорошую русскую девушку на революционную дорогу».

! Ив. Б. Подчеркнуто мною. И. Б.

С. Я. Елпатьевский. «Антон Павлович Чехов».

«Антон Павлович Чехов приехал в Москву, в ту

Москву, из которой уехал помимо воли из-за болезни, и куда так неудержимо стремился все те семь-восемь лет, которые он прожил на моих глазах в Ялте, в ту Москву, которая занимала все его мысли, в которой сосредоточилось все то, что было в России самого хорошего, приятного, милого для Чехова».

Преувеличено? И. Б.

**
*

«Приходилось говорить и о тех конфликтах, которыми полна русская жизнь, и о тех острых и больших вопросах, которые давно стоят перед русской жизнью в их строгой повелительности, но разговор о них недолго продолжался. Лицо его делалось усталым и скучным, говорил он слова скучные и утомительные, приводил какой-нибудь случай из обывательской жизни, характеризующий жестокость и некультурность этой жизни, иногда приводил свои заграничные впечатления и охотно переходил на другие темы, и было видно, что ему скучно говорить и хочется уйти от надоедливой темы и что он не любит острого (? И. Б.), требовательного, повелительного. И когда у меня вырывалось резкое, жестокое замечание о каком-нибудь его знакомом литераторе, ему было неприятно, и он начинал оправдывать его и приводить смягчающие вину обстоятельства».

**
*

...«встречал я у него людей добрых и мягких, не-
требовательных и неповелительных, и не влекло его

к людям строгим, которые остро ставят вопросы жизни и без колебаний отвечают на них...»

Вздор.

**
*

...«когда я уходил от него, у меня всегда была одна и та же мысль: почему этот, так ищущий людей, человек одинек и почему он, жадный к жизни, с тонким проникновением красоты, — х м у р ы й человек».

Вздор. Подчеркнуто мною. И. Б.

Е в т. П. К а р п о в. «Две последние встречи с А. П. Чеховым».

Чехов его ненавидел (Ив. Б.)

«Антон Павлович произвел на меня приятное впечатление. Славным малым, студентом веяло от его статной худощавой фигуры...»

!! (И. Б.) Подчеркнуто мною. И. Б.

...«И чем ближе я узнавал его, тем симпатичнее, родней по духу становился он мне».

**
*

...«вижу его сгорбленную осунувшуюся фигуру, сидящую на низком диване, с наклоненной головой, с белыми, как кипень руками... (?! И. Б.).

«— В Крым, к себе поедете?..

— Да, вероятно, в Крым... Хотел за границу, да нельзя... Теперь в Крыму жара африканская... Д е к о р а ц и я к а к а я - т о... Постоянно жить в Крыму невыносимо скучно... Тоскливо».

Брехня (И. Б.). Подчеркнуто мною. И. Б.

«— Написали что-нибудь для театра? — спросила Вера Федоровна.

— Да, пишу... — нехотя, конфузливо улыбаясь, ответил Антон Павлович. — Пишу не то, что надо... не то, что хотелось бы писать... Нужно выходить... Совсем не то теперь надо...

— А что же?

— Совсем другое надо... Бодрое... Сильное... Пережили мы серую канитель. Поворот идет... Круто повернули...»

Фу! (подчеркнуто мною. И. Б.)

**

«— Разве пережили? Что-то не похоже... — усомнился я.

— Пережили... уверяю вас... — убежденно сказал Антон Павлович. — Здесь, в Москве, да и вообще в столицах это не так заметно... У нас на юге волна сильно бьет... В народе сильное брожение. Я недавно беседовал с Львом Николаевичем. И он тоже видит... А он старец прозорливый.

Гудит, как улей, Россия...

(Ах, с.с.! И. Б.) Подчеркнуто мною. Ив. Б.

Антон Павлович оживился, встал с дивана и, заложив одну руку в карман, стал ходить по комнате.

— Вот мне хотелось бы поймать это бодрое настроение... Написать пьесу... Бодрую пьесу».

! И. Б.

**
*

«С нервной горячностью «упорствуя, волнуясь и спеша», он говорил о движении в земстве, о новых сектантских течениях на юге России, о народившемся типе интеллигента из народа. Говорил, что литература обязана идти навстречу народному движению... Должна поймать и запечатлеть новые общественные веяния...

Никогда не видал я таким Антона Павловича, никогда не слышал от него таких горячих речей».

Никогда этого и не было! Ив. Б.

**
*

«Весной, в конце апреля 1904 года

...на улицах Ялты появились широковещательные афиши. Приезжая из Севастополя труппа давала в ялтинском театре спектакль. Шел «Вишневый сад»...

Антон Павлович радушно принял меня в уютном кабинете, со стен которого грустно смотрели чудные, полные глубокого настроения картины Левитана».

Брехня. Не было ни одной картины. Был только пейзаж на стене над камином. (И. Б.). Подчеркнуто мною. И. Б.

**
*

«— Мне передали, что вы были на «Вишневом саде»?... — не глядя на меня спросил Антон Павлович.

— Да...

— Каково исковеркали!.. Безобразие! Еще написали на афише, что играют под моим наблюдением... А я их в глаза не видал... Возмутительно! Они все хотят обезьяничать Художественный театр... И совершенно напрасно... Там вся эта сложная постановка достигается невероятным трудом, затратой громадного количества времени, любовным отношением ко всякой мелочи. Им это можно... А они тут столько звуков, говорят, напустили, что весь текст пропал... Половины слов не было слышно... И там-то, в Художественном театре, все эти бутафорские мелочи отвлекают зрителя, мешают ему слушать. Заслоняют автора... А уж здесь... представляю себе, что это было... Знаете, я бы хотел, чтобы меня играли совсем просто, примитивно... Вот как в старое время... Комната... На авансцене — диван, стулья... И хорошие актеры играют... Вот и все... Что бы без птиц и без бутафорских настроений... Очень бы хотел посмотреть свою пьесу в таком исполнении. Интересует меня, провалилась бы моя пьеса? Очень это любопытно!.. Пожалуй, провалилась бы... А, может быть, и нет... Кто знает... Театр обманчивая штука... Не поймешь... И завлекательная и противная в одно и то же время».

Все выдуманно! (И. Б.).

**
**

«Я перевел разговор на другую тему, спросив, кто у него бывает из литераторов?

— Андреев здесь, в Крыму... Елпатьевский... Скиталец...

— Какой надменный вид у Скитальца... Совсем испанский дворянин какой-то шагает по набережной, — сказал я.

— Это его манера держаться... А он чудесный простой малый... Совсем простой добряк и скромный... И талантливый... Его «Октава» хорошая вещь... А надменным его делают плащ, желтые штиблеты, шляпа и пенснэ...»

Все ложь! (И. Б.)

Недаром Чехов считал этого Карпова болваном и...

Н. Гарин. «Памяти Чехова».

«А. П. провожал меня, очень серьезно уверял меня, что непременно приедет в Маньчжурию.

— Поеду за границу, а потом к вам. Непременно приеду. Горький, Елпатьевский, Чириков, Скиталец только говорят, что приедут, а я приеду».

Никогда они этого не говорили. И Чехов этого не говорил про них. (И. Б.).

Г. И. Россолимо. «Воспоминания о Чехове».

«Рука Чехова была суха и горяча, щеки горели... К своей основной легочной болезни он относился с обычным для таких больных оптимизмом».

Не вполне (И. Б.).

VI

Жаль, что у меня на руках нет писем Антона Павловича. Единственно, что уцелело, это его фотография. На ней надпись:

Милому Ивану Алексеевичу

Бунину

от коллеги

Антон Чехов

1901, 11. 19.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Выпуская в свет последнюю книгу И. А. Бунина о Чехове, Издательство считает нужным заметить, что книга эта печатается с неоконченной и недоработанной рукописи покойного писателя. Поэтому в рукописи есть некоторые неточности и погрешности, которые, вероятно, были бы устранены автором при окончательном редактировании книги. Исправив некоторые явные ошибки, Издательство не посчитало, однако, возможным вносить значительные изменения в рукопись, принадлежащую перу И. А. Бунина.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие М. А. Алданова	7
Вступление В. Н. Буниной	21
Часть первая	33
Часть вторая	205

**Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.**

Цена: \$3.00

